

URALO-INDOGERMANICA

I

МОСКВА 1990

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ И БАЛКАНИСТИКИ

URALO - INDOGERMANICA

Балто-славянские языки и проблема
урало-индоевропейских связей

Материалы 3-ей балто-славянской
конференции, 18-22 июня 1990 г.

Часть I

МОСКВА 1990

Редколлегия: Вяч.Вс.Иванов
Т.М.Судник
Е.А.Хелимский

Подписано к печати 20.04.90
Объем 9,0 п.л. Печать офсетная
Тираж 500 экз. Зак. 114

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство "Наука"
Главная редакция восточной литературы
103051, Москва К-51, Цветной бульвар, 21
3-я типография издательства "Наука"
107143, Москва Б-143, Открытое шоссе, 28

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ И ПРОБЛЕМА УРАЛО-ИНДООЕВРОПЕЙСКИХ СВЯЗЕЙ" ПРОВОДИТСЯ ИНСТИТУТОМ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ И БАЛКАНИСТИКИ АН СССР ПО РЕШЕНИЮ ОТДЕЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА И ОТДЕЛЕНИЯ ИСТОРИИ АН СССР. ЗАДАЧА КОНФЕРЕНЦИИ - ШИРОКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И УТОЧНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ХАРАКТЕРЕ, ИНТЕНСИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТАХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ИНДООЕВРОПЕЙСКИМИ - В ТОМ ЧИСЛЕ БАЛТО-СЛАВЯНСКИМИ - И ФИННО-УГОРСКИМИ ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ В РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭПОХИ И НА РАЗЛИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ.

ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ ПРОХОДИТЬ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОСНОВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ, И ОХВАТЯТ ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ:

1. СЛАВЯНЕ И ФИННО-УГРЫ.
2. БАЛТЫ И ФИННО-УГРЫ.
3. ГЕРМАНЫ И ФИННО-УГРЫ.
4. ВОСТОЧНЫЕ ИНДООЕВРОПЕЙЦЫ И УРАЛЬЦЫ.
5. НОСТРАТИКА И ДРЕВНЕЙШАЯ ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЯ ЕВРАЗИИ.

РАБОТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПЕРВЫМ ДВУМ ТЕМАТИЧЕСКИМ ЦИКЛАМ, ВКЛЮЧЕНЫ В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ, А РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТРЕМЯ ДРУГИМИ ЦИКЛАМИ - В ЧАСТЬ ВТОРУЮ.

КОНФЕРЕНЦИЯ "БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ И ПРОБЛЕМА УРАЛО-ИНДООЕВРОПЕЙСКИХ СВЯЗЕЙ" ПОДГОТОВЛЕНА ОРГКОМИТЕТОМ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ - ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ВЯЧ.ВС.ИВАНОВ).

ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ И БАЛКАНИСТИКИ АН СССР СЕРДЕЧНО ПРИВЕТСТВУЕТ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

ЕЩЕ РАЗ О ЗАВОЕВАНИИ СЕВЕРОВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ СЛАВЯНАМИ И О ВОПРОСЕ ФИННО-УГОРСКОГО СУБСТРАТА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Хотя уже весьма много написано и о завоевании северовосточной Европы славянами, и о вопросе финно-угорского субстрата в русском языке, осталось еще довольно много невыясненных или недостаточно изученных проблем, относящихся к только что названным вопросам, так что стоит хотя бы коротко остановиться на них для того, чтобы указать, что именно нуждается в дальнейшем уточнении и объяснении. В этой связи, я постараюсь изложить и свою собственную точку зрения относительно некоторых спорных до сих пор вопросов.

Предварительно придется сказать, что, когда речь идет о северовосточной Европе, мы имеем в виду как раз территорию европейской части России. Далее, нужно уточнить, что те славяне, которые захватили северовосточную Европу, это - восточные славяне или, скорее, те славянские племена, которые впоследствии стали восточнославянскими (или, еще точнее, которых мы привыкли называть восточнославянскими). При этом не принимается во внимание, откуда они произошли - считая, что, по мнению некоторых ученых, кривичи а также, быть может, ильменские (или новгородские) словене, по крайней мере отчасти, являлись пришельцами со славянского запада. Как известно, и ранее некоторые ученые придерживались мнения, что вятичи и радимичи попали на славянский восток с запада. Добавочно уточняя употребляемые в заглавии выражения, вместо финно-угорского субстрата в русском языке более уместно говорить о финском субстрате, так как угорские языки на самом деле никаким образом не могли повлиять на образование (или преобразование) русского - или даже общевосточнославянского - языка, ибо часть угорского населения находится за Уралом (а в доисторические времена оно, кажется, поселялось на западных склонах Уральских гор), в то время как другая ветвь того же этнолингвистического комплекса, образовавшая

впоследствии венгерский (мадьярский) народ, передвигалась в юго-западном направлении, обойдя Киев, по свидетельству Повести временных лет (ПВЛ), в 898 г.

Этнонимия ПВЛ, детально изученная Г. А. Хабургаевым (1979; см., однако, и критическую рецензию Ю. Шевелева, Shevelov 1982), является, конечно, одним из самых важных источников нашего знания о раннем распространении восточных славян на территории северовосточной Европы и о покорении ими местных неславянских - т.е., главным образом, балтийских и финских - племен. Однако надо иметь в виду, что ПВЛ написана с известной политической целью и что поэтому ее изложение иногда является крайне субъективным (разумеется, в пользу русской или, скорее, славянской точки зрения). Более объективным можно, на мой взгляд, считать языковое свидетельство ономастики и, особенно, гидронимии, изученной без всякого предвзятого мнения современными учеными. Работой такого рода является статья немецкого лингвиста и ономастолога Ю. Удольфа (Udolph 1981). Там, на основании географического распределения отражений лексем *вьсь/деревня, поток/ручей и корч- (ср. русск. корчевка)/гарь/дор, автор прослеживает миграции восточных славян. Таким образом, он различает следующие пять фаз в распространении славян на территории северовосточной Европы: 1) обход припятских болот; 2) после достижения цепи белорусских холмов - миграции на север в направлении Чудского озера и озера Ильмень; 3) на север от озера Ильмень разделение миграционных движений - с одной стороны, далее на север, вглубь Карелии, а с другой - на восток, к верхнему Поволжью; 4) продолжение восточного движения вдоль Волги; 5) распространение экспансии в разных направлениях, на север, восток и юг, вдоль больших рек. По-моему, такое толкование постепенного расселения восточнославянских племен по территории нынешней России представляется весьма реалистичным. Так как мы примерно знаем пределы заселения финских этнических групп во второй половине первого тысячелетия н.э., нетрудно реконструировать и пути (и приблизительное время завоевания восточнославянскими пришельцами областей, первично заселенных финским населением.

Что же касается финского субстрата в русском языке, то на эту тему написано уже весьма много. Среди более ранних работ, которые сохранили свое значение до сегодняшнего дня, можно назвать, особенно, книгу Я. Калимы (Kalima 1915) о западнофинских (прибалтийско-финских) лексических заимствованиях в русском языке, а также монографию М. Фасмера (Vasmer 1934/1971) о прежнем распространении западных финнов на территории нынешних славянских стран; в этих работах обсуждается и предшествующее изучение данного вопроса. Наиболее обстоятельным, пока исследованием финского субстрата в русском языке является, насколько мне известно, монография В. Фенкера (Veenker 1967), где учтены не только почти все вышедшие до того времени работы по данному предмету, но в которой разбираются подробно и все - даже потенциально - относящиеся сюда явления фонологии, морфологии, синтаксиса и лексики. Работа Фенкера вызвала критический отзыв известного финского слависта В. Кипарского (Kiparsky 1969a), занимавшегося ключевым для его разысканий вопросом о взаимном влиянии финских (преимущественно западнофинских) и восточнославянских языков (ср. особенно Kiparsky 1952; 1958; 1962; см. также, напр., Kiparsky 1963, 76-84, 126, 137-143; 1975, 86-92). Среди работ нелингвистического, в основном, характера, где можно найти ценные сведения по ранним финско-восточнославянским контактам (отразившимся и в языке), можно назвать, например, Словарь по славянским древностям, издаваемый Польской Академией наук (SSS, 58-60, статью Ч. Кудзиновского о финско-славянских языковых связях) и новейшее обширное руководство по истории России (HGR, 237-267, глава о восточных славянах и их соседях).

В книге Фенкера явления русского языка, решительно или в порядке рабочей гипотезы приписываемые влиянию финского субстрата, рассматриваются отдельно в областях фонетики/фонологии, морфологии, синтаксиса, и лексики. Кроме того, учитывается вопрос, проникли ли данные явления лишь в часть диалектов русского языка или попали они также в стандартный, литературный язык. И, наконец, для всех обсуждаемых языковых явлений указывается степень вероятности, с которой можно, по мнению автора, объяснить их влиянием финского субстрата. Таким

образом, Фенкером обсуждаются: в области вокализма - вопрос гласного *o в "пранорусском" (общевосточнославянском), аканье, яканье, оканье, переход e > o в безударном слоге, иканье, дифтонги и тенденции к дифтонгизации; в области консонантизма - корреляции звонкости, смягчения, количества и диалектальные отклонения в системе согласных; далее, согласные v и φ и их изменения, заднебные, переход g > v, произношение согласного д (переход твердого д в "среднее" д или в билабиальное v [y, w]), аффрикаты и проблема цоканья, упрощение (и другие видоизменения) групп согласных. Глава о фонологии заключается несколькими замечаниями по ударению и интонации. В области морфологии обсуждается именное склонение (род, число и, особенно, падеж); далее, постпозитивный член (артикль), сравнительная степень имен существительных, взаимные местоимения и спряжение (в частности, ограничение употребления времен; тенденция - в основном синтаксическая, но морфологически мотивированная - к именным конструкциям; повелительное-наставительное наклонение в связи с уменьшительным словообразованием, т. наз. латив; инфинитив; перфект и давнопрошедшее время). Среди синтаксических явлений автор рассматривает, прежде всего, именное предложение, а также конструкции, заменяющие выражения с глаголом "иметь" (т. е., в основном, посевивные конструкции); разные способы обозначения дополнения (объекта); конструкцию с творительным падежом; другие особенности употребления падежей; конструкцию типа у него уехано; особенности в употреблении предлогов. Что касается лексики, автор сперва дает обзор финно-угорских (и самоедских) заимствований или, скорее, методов их установления, отмечая, что только незначительное количество слов финно-угорского происхождения попало в современный русский литературный язык, в то время как в русских наречиях есть гораздо больше таких заимствований. Впоследствии Фенкер разбирает несколько суффиксов, заимствованных русским языком (или его диалектами) из финно-угорского. Под конец автор коротко обсуждает возможные лексические кальки и семантические сходства русского и финских языков.

Подытоживая свои наблюдения и разыскания, немецкий ученый приходит к выводу, что есть полное основание принимать субстратное влияние финских языков на русский. Как известно, в противоположность этому, большинство ученых отвергает теперь гипотезу о каком-либо финно-угорском субстрате еще в праславянском языке. Различая между несомненными, вероятными и возможными случаями финского влияния на русский язык, с одной стороны, и с другой, между явлениями проникшими в литературный язык или лишь в диалектную речь, Фенкер считает аканье, именное предложение и разного рода замены конструкций типа habeo надежными, несомненными случаями финского влияния на литературный русский язык, в то время как, по его мнению, переход o > oa и e > ia, а также цоканье, ударение на первом слоге, сравнительная степень имен существительных, дополнение в именит. падеже и некоторые заимствованные суффиксы можно с уверенностью включить в число русских диалектизмов финского происхождения. Нет надобности перечислить здесь все остальные особенности русского языка или его диалектов, которые по мнению Фенкера в какой-то мере обязаны финскому влиянию (ср. Veenker 1967, 158-161, 326-329). Достаточно констатировать, что список несомненных и потенциальных "финнизмов" в русском языке, составленный немецким ученым, обширен и что точка зрения Кипарского гораздо более сдержанна. Таким образом, по мнению финского слависта (Kiparsky 1969, 27), финский субстрат несомненно налицо лишь в звуковой системе и в синтаксическом строе русского языка. Отсутствие, по существу, глагола "иметь" и северорусское цоканье объясняются, как думает Кипарский, именно образцом финской модели. По всей вероятности, аканье обязано влиянию мордовского (мокшанского) субстрата. Подобно, конструкцию инфинитива с дополнением в именительном падеже, известную северорусским наречиям, можно считать "холодильным" (в специальном понимании Кипарского) сохранением финской конструкции. В лексике финский - или даже финно-угорский - субстрат едва ли отражен, по крайней мере в русском литературном языке (ср. однако Кипарский 1975, 86-92; Issatschenko 1980, 26-27). Согласно Кипарскому, нет и существенных следов финского влияния

на морфологию русского языка (вопреки утверждению Фенкера), так как явления, приписываемые немецким ученым этой области языка, на самом деле или самобытного, туземного происхождения (как, напр., суффикс -ка в качестве черты повелительного наклонения с "интимной" окраской), или они принадлежат синтаксическому строю (напр. постпозитивный член или сравнительная степень существительных).

В заключение уместно добавить несколько замечаний по некоторым из упомянутых здесь языковых явлений. Относительно аканья, я лично уверен, что это явление довольно позднего происхождения (не раньше XII, а, в основном, XIII в.). Думается, что его легче всего объяснить влиянием восточнофинского (волжско-финского, мордовского, точнее, мокшанского) субстрата. Иначе говоря, я не считаю, вслед за А. Вайаном, Ю. Шевелевым, В.И. Георгиевым, Ф.П. Филиным и др., что аканье—прямое отражение праславянского состояния, когда, возможно, ǫ и ǰ совпали в кратком ǰ (или близком к нему гласном); ср. Birnbaum 1965, 415-416; 1970, 47-61; 1972, 47-48, и указанные там работы по данному вопросу.

Что касается конструкции типа вода пить, земля пахать, я придерживаюсь мнения Кипарского (Kiparsky 1960; 1967; 1969b) о сохранении индоевропейской конструкции под влиянием западнофинского субстрата (т. е. речи руссифицированных и балтизированных прибалтийских финнов). Но я не могу принять ни теорию Фенкера, будто этот синтаксический тип возник в северорусских наречиях исключительно вследствие финского влияния, ни остроумную, впрочем, попытку А. Тимберлэйка (Timberlake 1974) объяснить его возникновение в индоевропейском и финно-угорском независимо друг от друга, но типологически параллельно и как бы в двух этапах - древнем и современном; при том первый - явление синтаксическое, а второй - явление морфологическое; ср. Birnbaum & Merrill 1983, 46.

Относительно выражений типа у меня (есть) вместо предложений с глаголом "иметь", Х. Васильеву (Vasilev 1973) удалось показать, что этот тип представлен не только в русском (или вообще восточнославянском), но что конструкции подобного типа встречаются и в старославянском (древнеболгарском),

древнесербском и древнехорватском и что, поэтому, они восходят скорее к праславянскому периоду; ср. Birnbaum & Merrill 1983, 47. Соответственно, русский синтаксический тип не обязательно объясняется чужим влиянием, а, быть может, является опять лишь сохранением более древнего состояния, отчасти, кажется, в результате "холодильного" влияния финского субстрата. В этой связи нужно вспомнить, что современный русский язык является единственным славянским языком типа "быть" (в противоположность языкам типа "иметь", по типологическому различию А.В. Исаченко; ср. Isačenko 1974; Birnbaum 1978, в частности 28 и 30).

Наконец, что касается именного предложения в русском языке, то должно вспомнить, что французский лингвист Лэрмит занимавшийся этим явлением, особенно на материале древнерусских памятников, пришел к выводу, что среди нескольких гипотез, относящихся к его происхождению, теория о решающем воздействии финского субстрата является наиболее вероятной, хотя и ее нельзя считать доказанной; ср. L'Hermitte 1978, в частности, 302-310; Birnbaum 1980, 101-102.

Библиография

- Birnbaum, H. Рец. на кн.: Kiparsky 1963. - ZfslPh 32, 1965, 375-418.
- Birnbaum, H. Zur Problematik der zeitlichen Abgrenzung des Urslavischen. - ZfslPh 35, 1970, 1-62.
- Бирнбаум Г. О степени доказательности диалектизмов-"архаизмов". - Русское и славянское языкознание. Москва 1972, 43-48.
- Birnbaum, H. To Be or Not to Have. Some Notes on Russian Surface Data and Their Typological and Universal Implications. - Studia Linguistica (сб. в честь А.В. Исаченко). Lisse, 1978, 27-33.
- Birnbaum, H. Рец. на кн.: L'Hermitte 1978. - RL 5, 1980, 99-102.
- Birnbaum, H., Merrill, P.T. Recent Advances in the Reconstruction of Common Slavic (1971-1987). Columbus, Ohio, 1983.
- (HGR) Handbuch der Geschichte Russlands. Bd.1, Lief.4/5. Stuttgart 1979.
- Isačenko, A.V. On 'Have' and 'Be' Languages (A Typological Sketch). - Slavic Forum. The Hague-Paris 1974, 43-77.
- Issatschenko, A.V. Geschichte der russischen Sprache. 1. Bd. Heidelberg 1980.

- Kalima, J. Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen. Helsingfors 1915.
- Kiparsky, V. The Earliest Contacts of the Russian with the Finns and Balts. - OSP 3, 1952, 67-69.
- Кипарский В. О хронологии славяно-финских лексических отношений. - ScSl 4, 1958, 127-136.
- Kiparsky, V. Über das Nominativobjekt des Infinitivs. - ZfslPh 28, 1960, 333-342.
- Kiparsky, V. Wie haben die Ostseefinnen die Slaven kennengelernt? - Commentationes Fenno-Ugricae in hon. P.Ravila. Helsinki 1962, 223-230.
- Kiparsky, V. Russische historische Grammatik. Bd. I: Die Entwicklung des Lautsystems. Heidelberg 1963.
- Kiparsky, V. Nochmals über das Nominativobjekt des Infinitivs. - ZfslPh 33, 1967, 263-266.
- Kiparsky, V. Gibt es ein finnougriechisches Substrat im Slavischen? - Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Ser. B, 153:4. Helsinki 1969(a).
- Kiparsky, V. Das Nominativobjekt des Infinitivs im Slavischen, Baltischen und Ostseefinnischen. - Baltistica 5:2, 1969 (b), 141-148.
- Kiparsky, V. Russische historische Grammatik. Bd. III: Entwicklung des Wortschatzes. Heidelberg 1975.
- L'Hermite, R. La phrase nominale en russe. Paris 1978.
- Shevelov, G.Y. "Между праславянским и русским". RL 6, 1982, 353-376.
- (SSS) Słownik starożytności słowiańskich. T. II, cz. 1. Wrocław 1964.
- Timberlake, A. The Nominative Object in Slavic, Baltic, and West Finnic. München 1974.
- Udolph, J. "Die Landnahme der Ostslaven im Lichte der Namenforschung". Jahrb. f. Gesch. Osteuropas 29, 1981, 321-336.
- Vasilev, Ch., "Ist die Konstruktion U Menja Est' russisch oder urslavisch?" WdSl 18, 1973, 361-367.
- Vasmer, M. "Die ehemalige Ausbreitung der Westfinnen in den heutigen slavischen Ländern". Sitz-ber. d. Preuss. Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Kl., 1934, XVIII, 349-434. Перепеч. в Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde, T. I, Berlin 1971, 271-345.
- Veenker, W. Die Frage des finnougriechischen Substrats in der russischen Sprache. Bloomington 1967.
- Хабургаев, Г.А. Этнонимия "Повести временных лет". Москва 1979.

К ЛИНГВОЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФИННО-УГОРСКОЙ СУБСТРАТНОЙ
ТОПОНИМИИ

В области компаративистики и лингвоэтногенетических исследований финно-угроведение в отличие от индоевропейского языкознания вынуждено оперировать главным образом данными современных языков и диалектов, что очень затрудняет исследование истории финно-угорских языков и их носителей. Поэтому существенна любая возможность получить новые сведения о древних финно-угорских языках. В этом отношении большую ценность представляет финно-угорская субстратная топонимия (СТ), широко распространенная на территории севера Европейской части СССР и южнее вплоть до Подмосковья, однако этот источник исследован и использован очень недостаточно, более того, традиционное финно-угроведение, видимо, пока не оценило его значение в полной мере.

Изучение СТ может дать интересные сведения о расселении финно-угорских народов в древности. Так, сейчас уже ни один серьезный исследователь не сомневается в том, что в верхнем слое СТ содержится мощный прибалтийско-финский и саамский компонент. Установлен целый ряд фонетических и лексических особенностей древних прибалтийско-финских и саамских диалектов.

Однако при всей важности интерпретации фактов, относящихся к верхнему слою, еще актуальнее поиск путей лингвоэтнической идентификации компонентов СТ, выходящих за рамки прибалтийско-финского и саамского субстрата. Решение этой проблемы значительно обогатило бы наши знания об историческом развитии финно-угорских и - шире - уральских народов и их языков. Древность названий (в основном корпусе гидронимов - более 1000 лет), многочисленность, исключительно важное - центральное - положение между зонами расселения саами, прибалтийских финнов, волжских финнов, пермян и ненцев делают проблему интерпретации глубинных слоев СТ во многих отношениях узловое для решения вопросов финно-угорского и уральского лингвоэтногенеза.

Наиболее важен вопрос о наличии или отсутствии в СТ угорских, пермских и самодийских элементов. Решение этого весьма трудного вопроса существенно для определения направления передвижений фин-

но-угорских и самодийских народов к местам их современного местожительства, а в конечном счете и для установления финно-угорской и уральской прародины.

Учитывая родство финно-угорских и самодийских языков, при решении вопроса о лингвотнической идентификации тех или иных типов СТ необходимо выявлять дифференцирующие элементы. Так как древний корень со значением "река" отражен почти во всех уральских языках (фин. joki, саам. jokká, мар. йогы, древнеперм. *jug, хант. ёхан, ненец. яха и т.п.) и притом в фонетически близких вариациях, он не обладает достаточной дифференцирующей способностью. Этим и вызваны споры вокруг происхождения названий рек на ега, ога, уга, юга, уг, юг и т.п. Напротив, обозначение озера представляет исключительный интерес, поскольку западнофинское и волжское слово (фин. järvi, саам. jawre, мар. ер) противостоит пермскому (коми ты), угорскому (венг. tó) и самодийскому (ненец. то). Следовательно, эта лексическая изоглосса разделяет уральские языки на две ареальные области: финскую - западную и пермско-угорско-самодийскую - восточную.

На первый взгляд, изучение названий озер должно было сразу дать ответ на вопрос, к какой из этих двух зон относились древние языки СТ, но в ходе исследований выяснилось, что озерные гидронимы в своей массе утратили детерминанты и стали полудикальками типа Мустозеро или Шардозеро. Только целенаправленный сбор СТ, а он на территории Архангельской и Вологодской областей в основном уже завершен, позволил получить достаточно ясный ответ на этот вопрос, так как среди тысяч полудикалек все-таки было обнаружено некоторое количество озерных названий с субстратными топоформантами.

Изучение этих названий показало, что в СТ нет никаких следов "озерного" термина, характерного для пермско-угорско-самодийской общности (коми ты, венг. tó, ненец. то). Только на крайнем юго-востоке Архангельской области в бассейне нижней Вычегды среди других коми топонимов были зафиксированы и названия озер на ты (Лячты - "Песчаное озеро", Шойнаты - "Могильное озеро"). Эта нижневычегодская топонимия, специально изучавшаяся А.И.Туркиным, в настоящее время является субстратной, но она органично примыкает к массиву названий Коми АССР и явно позднего происхождения.

Обнаруженные в СТ озерные названия с субстратными топоформантами образуют две группы.

Первая группа (около 100 названий на ар, ер, ор, яр) географически связана с северо-западной половиной территории (Кодмар, Кывер, Шубор и т.п.), т.е. эти названия находятся в зоне прибалтийско-финской и саамской СТ, где обычны гидронимы с формантами ой, оя, уй, уя, бой, аналогичные современным прибалтийско-финско-саамским названиям с детерминантами oja, oj, voj, vuoj - "речка", "ручей". Изменение географического термина, родственного фин. järvi, саам. jawre, в топонимы ар, ер, ор, как уже давно установлено, могло произойти и в языке-источнике.

Вторая разновидность озерных названий характеризуется топонимом агра, эгра, огра и распространена в юго-восточной части территории СТ. Она невелика (15 топонимов), что связано прежде всего с малочисленностью озер в этой части региона, но при этом кое-где вторгается в зону названий озер на ар, ер, ор, яр, особенно по направлению к низовьям Северной Двины. Этот тип названий в своем первоначальном виде зафиксирован в документе XV в., где фигурирует озеро Рушеягръ. В результате русской адаптации названия на ягр превратились в Копагра, Мачегра, Оногра, Суегра, Чавегра, Сологрово, Тотогрово и т.п. Они функционируют в этой зоне вместе с многочисленными речными названиями с топонимами ягр (Ягрова) и яхр (Яхреньга), образуя северную часть обширного ареала, достигающего на юге до Подмосковья, где засвидетельствованы названия озер типа Кочихра, Сезехра и речной гидроним Яхрома.

С обозначением озера в этих названиях связан ряд проблем, которые требуют особого обсуждения (историко-фонетическое обоснование связи с прибалтийско-финскими и саамскими словами типа järvi, jawre, хронологическое соотношение с прибалтийско-финско-саамскими названиями СТ и, наконец, лингвоэтническая принадлежность). Пока же надо констатировать, что озерные названия на ар, ер, ор, яр, а также ягр могут увязываться только с финскими языками, исключая пермские. Таким образом, наличие пермских, угорских и самодийских элементов в СТ, по крайней мере по "озерному показателю", исключается.

В свое время Б.А.Серебрянников привел еще один аргумент в пользу угорской гипотезы, предположив, что нижневыхгодские названия на луг, дук связаны с манс. дох, хант. дук - "речной залив". Однако недавно М.Д.Гусельникова, тщательно изучив материал в памятниках и на месте, установила, что окруженные типично субстрат-

ными коми-зырянскими названиями, о которых уже шла речь, топонимы на луг, дук являются или собственно коми-зырянскими образованиями с заимствованным русским термином луг, или полукальками.

Выделяя зону с топоформантами агра, егра, огра (из ягр) и топоосновами ягр, ягр в юго-восточной части региона СТ, необходимо заметить, что именно на этой территории засвидетельствована и основная масса загадочных топонимов на V+n(ь)га, которые тоже иногда рассматриваются как угорские.

Проблема происхождения этих названий до сих пор не разрешена, но, учитывая все сказанное, а также неоднократную фиксацию гидронима Яхреньга - "Озерная (река)", их корни надо искать опять-таки в прибалтийско-финских, саамском и волжско-финских языках. Как бы ни решать вопрос о значении топоформанта V+n(ь)га, который может быть сопоставлен как с суффиксом обладания у, засвидетельствованным в мордовских и обско-угорских именах, так и с марийским эне - "река" (ср. еще ненец. эца - "маленькая речка"), основы многочисленных названий этого типа СТ лучше всего раскрываются именно из финских языков, хотя и обладают большой индивидуальностью.

В то же время следует заметить, что названия на V+n(ь)га нельзя отрывать от других гидронимических типов СТ (ср. Кузеньга, Кузегга, Кузюга или Анданга, Андога, Андома), в той или иной мере распространенных на громадной территории от Кольского полуострова до Печеры и от Белого моря до Подмосковья. Я.Калима считал такие названия мерянскими, но предпочтительнее пользоваться менее обязывающим термином - севернофинская топонимия.

Выход на "мерянскую" проблематику вынуждает нас коснуться недавних исследований О.Б.Ткаченко, который не учитывает, что мерянская топонимия не изолирована. На "мерянской" территории в Костромской области есть гидронимы Анданга, Варзеньга, Вожега, Пезеньга, Петеньга, Пучуга, Селеньга, Юрманга. Совершенно те же названия находим и в Архангельской и Вологодской областях. Сейчас уже хорошо видно, что решение мерянской проблемы невозможно без обращения ко всему массиву севернофинской СТ, частным случаем которой являются мерянские названия.

ОБ УРАЛЬСКОМ ВКЛАДЕ В ЛЕКСИКУ РУССКИХ ГОВОРОВ

Приводимые ниже объяснения русских диалектных слов, по мнению автора, могут служить дополнением к уральским этимологиям в (ЭСРЯ). Используются результаты проводимого автором с 1984 г. исследования заимствованного фонда лексики русских говоров Сибири. 1. авко 'оленок, брошенный матерью и вскормленный людьми' Верхонье Печоры (СРНГ I, 198) < коми авко (ССКЗД, 9). Крупнейший источник по русской диалектной лексике (СРНГ) не приводит другого варианта лексемы, имеющего, по-видимому, более широкое распространение - рус. обл. ávка 'то же' (ССКЗД, 9; Терещенко 1979, 30) < нен. навка 'то же', ср. еще нган. ауку 'то же' (Терещенко 1979, 30). Лексема известна в обско-угорских языках и в долганском: ааку 'ручной олень' (ДСЯЯ, 37).

2. амприк 'медвежья ягода, толокнянка, растение семейства вересковых' сиб. (СРНГ I, 252) < хант. (?) ³⁶ ämpräk 'толокнянка', буквально 'собачья мука', ср. хант. ³⁶ ämp 'собака' (ю.-хант. ämp, с.-хант. ämp 'собака'), в.-хант. räk 'мука', ср. к семантике рус. мучница 'толокнянка' и проч. (Аникин 1988а, 45-46).

3. аулык, ауляк, аулях 'птица *Anas hiemalis* семейства утиных, савка, морянка' камч. (СРНГ I, 293). Наряду с привлекаемыми обычно манс. Конда á^wлх, əwлх, Лозьва əplax, Сосьва əplax '*Anas hiemalis*' и др. (ЭСРЯ I, 97; Kédei 1970, 173) следует считаться с рядом аналогичных фактов, ср., в частности, коми иж. авлык 'морянка (полярная утка)' (КЭСК, 29-30), нен. а"-а"-влык, а"-а"-ллык 'подражание крику утки', нган. а"а"ауле 'то же' (Терещенко 1979, 295). Изоглосса, охватывающая уральские междометия-подражания крику морянки-савки и соответствующие орнитонимы типа а(а)wl, продолжается такими фактами, как, например, эвен. áwúldúka ~ áwáldí 'утка-морянка' (ТМС I, 10), коряк. аалык 'савка' (Крашенинников 1949, 330), чук. ачэк', а'атлек' 'утка-морянка' (ЧКР, 16), а'алык' 'подражание крику морянки' (запись автора - 1989 г.). Указанная изоглосса по своему характеру аналогична другой, включающей "обширную группу обозначений водоплавающей птицы по ее крику" - саамские и северно-самодийские факты типа арз 'утка-нырок, утка-морянка' (Хелимский 1989, 243), например, нен. на"но 'то же' (НРС, 392), ср. еще такие ономастические образования, как рус. ангич, ангич (< ительм. а?ничх), якут. диал.

аанна, аана, анна (ДСЯЯ, 47-48), ороч., удэйск. ауна, орок. авунга ~ аунга, айнск. аанга 'утка-морянка', нивх. аунк 'разновидность утки' (Аникин 1988а, 48; 1988б, 252; 1988в, 36).

4. вэжай, вэжий 'крестный отец' волог. (СРНГ 4, 95) < коми вежай 'то же' ср. вежа 'священный, святой, освященный', ай 'отец' (КЭСК, 50).

5. вэжань 'крестная мать' тобол. (СРНГ 4, 95) < коми вежань 'то же', ср. ань женщина (КЭСК, 32), см. еще № 4.

6. вокшим 'женский головной платок' Сургут (Миненко 1975, 169, 305; ЭРКС, 234) < хант, ср. хант. Низям, Казым о́хсам, Демьянка о́хсам, Салым о́ксам, о́хсем 'платок (головной)' и др., коми оксин, оксин 'то же' (СВХД, 332; Toivonen 1956, 10). Не исключено и непосредственное заимствование: рус. < коми.

7. гомса 'холм или бугор в тундре, покрытый большей частью вязким мхом', гомси́стый '(о тундре) покрытый холмами, возвышенностями-гомсами' урал., в.-сиб. (СРНГ 6, 355). Обско-угорского происхождения, ср. манс. homs 'торфяное болото', Верхняя Сосьва Хoms 'сухое место с кочками между болотами в лесу, сухой мох, ягельник, кочки'. Из этого же источника происходят, вероятно (Чайко 1976, 118), рус. диал.

гымза 'топкое, иногда с кочками, поросшее мелким сосняком место на болоте; вязкий торфяной берег', кымса 'большой бугор с лесом' и др.

8. дзынга 'вид приморской утки из рода нырков, *Fuligula nigra*' сиб. (СРНГ 8, 46). Скорее всего, идентично рус. диал. сынга 'черная утка, *Anas nigra*' < хант. Вах, Васюган, Иртыш сінк, Низям, Казым сінк 'головня, *Schwarze Ente*' (Steinitz 1960, 512).

9. дыни (мн.ч.) 'отверстия в ребрах лодки для стока воды в льяло' арх. (СРНГ 8, 296), дыня 'ребро в дне выдолбленной лодки, в которое крепятся шпангоуты' (ЮКС) < (?) перм., ср. коми П дын, коми З дин, удм. дынь 'комель' < общеперм. *айн 'комель' (Аникин 1987а, 109).

10. ионпина 'подпруга в оленьей упряжи' арх. (СРНГ 12, 206), ендана, ендина 'то же' арх. (Арх.сл., 42). К нен. jo-inie 'vauchgurt' (Donner 1920, 56, 135), ен 'иная' 'ремень, который в упряжи проходит посередине туловища оленя' (НРС, 145) (иондина < нен. ендия, род.п. possessivного склонения). Сюда же относится рус. (обдор.) ендыль 'ремень в оленьей упряжке' (ЭСРЯ II, 20 - неточно выводит из хантыйского; см. еще DEWOS 4, 383).

11. козар 'мамонт' нарым. (СРНГ 14, 58) < сельк., ср. сельк. (Григоровский) козар 'то же', Квели-козар 'подводное чудовище, часто упоминаемое в преданиях о древнем народе "квели-куп"' (Пелих 1972, 113), Таз кобар 'мамонт' (Helinski 1983, 90).

12. кунды: '[малицы]...опушивают кундами из собачьей белой шкуры ...' (Зуев 1947, 24: в описании быта аборигенов Березовского уе-

зда) < нен., ср. нен. хунды 'старинная женская одежда из бобровых шкур, отделанная беличьей шкуркой и разноцветными сукнами, с подолом из собачьей шкуры' (НРС, 781).

13. кыр 'самец куницы' прикам. (СРНГ 16, 202) < коми кыр 'самец (только о зверях)' < *којга-, ср. фин. коига 'собака', коигас 'самец' и проч. (КЭСК, 153). Не вполне ясно рус. кыр 'гермафродит' том. (СРНГ 16, 202).

14. малемуха 'шмель' Удмурт. АССР (СРНГ 17, 321) < коми малямуш, малязи 'пчела, шмель' - сложение, включающее компоненты ма 'мед' и самостоятельное в прошлом муш 'пчела', удм. муш 'то же' < общеперм. *мъэ 'пчела' (КЭСК, 169). На русской почве, по-видимому, имела место контаминация с лексемой муха.

15. мун 'горный козел' Горный Алтай (Аникин 1987б, 173) < камас. muно, матор. muно < самод. *muнт'з 'горный козел' (Хелимский 1988, 9; указано Е.А. Хелимским). В русских говорах Горного Алтая (и возможно, на Саянах) существовала, по-видимому, и форма бун 'то же' (Аникин 1987б, 173), которая нуждается, однако, в дополнительных подтверждениях. Мена б/м указывала бы на тюркское посредство.

16. нюзь 'луг в низине' волог. (СРНГ 21, 327) < коми нюдз 'гибкий, сырой, вязкий (о глине и др.)', коми-язьв. н'уз 'влажный (о скошенной траве)' < общеперм. *нус 'сырой, влажный' (КЭСК, 200).

17. нялку 'олень-самец по второму году' арх., печор. (СРНГ 21, 332) < коми иж. нялку 'годовалый теленок оленя' < нен. нялоко 'то же' (КЭСК, 201, ср. Ивашко 1958, 93).

18. нямнуку 'самка оленя с первой беременностью' арх., печор. (СРНГ 21, 332) < коми, ср. коми иж. намнуку 'лончак, молодой самец-олень в возрасте от одного до двух лет' < нен., ср. нен. намна 'лончак, олень-самец по второму году' (КЭСК, 185; НРС, 284, ср. Ивашко 1958, 93).

19. одекуй 'стеклянные или фарфоровые бусы, бисер (использовались русскими в качестве предмета обмена при контактах с аборигенным населением Сибири)' (в мангазейских и восточно-сибирских памятниках XVII в., см. Манг. сл., 283; Материалы, passim; Орлова, 96, 101, 126; Сл. РЯ XI-XVII вв., 269), одекуина 'бисерина, бусина', одекуй-ный 'бисерный' (XVII в., см. Сл. РЯ XI-XVII вв., там же). Самодийского происхождения, ср. нен. нодяко "бисер, бусы", нодяко 'ягода, бисерина', деминутив от нод'е 'ягода' (НРС, 399; Основы, 402), связанного с энец. оде, нган. пта (сообщение Е.А. Хелимского). Судя по ко-свенным данным (Орлова, 96), в XVII в. лексема была известна также в языке колымских одулов, куда она попала, вероятно, через русское посредство.

20. оль 'мелкий низкорослый лес (обычно чернолесье) по низким сырым местам' сев.-урал. (СРНГ 23, 192) < коми оль, печ. ольтас и др. 'согра, сырое травянистое место с низким лесом' (ССКЗД, 259). Сюда же следует отнести рус. оли́ (мн.ч.) 'болотистое место, поросшее мелким, худого качества лесом' перм. (СРНГ 23, 188).
21. полкур 'рыба *Coregonus lavaretus pidschian*' обск. (Берг 1948, 401) < нен. пáлкур 'то же' (НРС, 438).
22. пúна 'гриб мухомор' том. (СОС, 127) < сельк., ср. сельк. пун 'гриб (с белой верхней кожицей, сладкий, дурманящий)', puṅu 'a kind of toadstool' (Helinski 1983, 159), Кетч pūṅna, pūṅu 'pilz, fliegen-schwamm' (Donner 1920, 95).
23. пурт 'нож' новосиб. (КСРГС). Скорее всего, из пермского источника, ср. коми пурт, удм. пурт 'то же' (КЭСК, 233). Возможно, что русские факты (география и хронология которых, по-видимому, недостаточно отражены в лексикографических источниках) послужили посредствующим звеном при передаче лексемы в тунгусскую языковую среду: эвенк. пурта 'нож' (Аникин 1988в, 14).
24. саба 'осадок вытопленного рыбьего жира' том. (ССО III, 118). К нен. саб 'густой осадок, который остается после вытапливания жира из рыбьих кишочек и голов' (НРС, 517)?
25. сырица 'самка 1-2 лет в оленьем стаде' сиб. (Блинова, Палагина, 127) < нен. сырэца 'двухгодовалая важенка', ср. еще сырой 'зимний, зима; сырица' (НРС, 575).
26. сявка, сявочка 'маленькая нельма' печор. (Берг 1948, 306; Линдберг, Герд 1972, 113) < нен. сявта 'чешуйчатый, покрытый чешуей; нельма', далее ср. нен. сяв 'чешуя рыбы' (НРС, 595).
27. тарбей 'птица буревестник' н.-индиг. (ФРУ, 382), тербей 'птица поморник' Яна, Индигирка (СЯЯ III, 2957) < (?) нен. тáрбяв 'птица из породы чаек' (НРС, 633).
28. туп 'навар из березовой коры (для обработки кожи)' том. (Хелимский 1983, 212). Селькупское происхождение слова (там же) вызывает сомнения ввиду возможности его этимологизации (Аникин 1988г, 150) из зап.-сиб.-тат. туп 'сушеная кора тальника (употребляется при дублении кожи)' < рус. диал. дуб 'кора некоторых пород лиственных деревьев, употребляемая для дубления кожи и приготовления краски' (СРНГ 8, 232), далее к фитониму дуб. Ср. связанные с этой лексемой факты типа рус. диал. дубас 'род одежды, котсы', как неоднократно указывалось, неправомерно выводить из финно-угорского материала (вопреки ЭСРЯ, I, 548).

29. ша́глы 'двустворчатый клапан, через который рыба входит в морду' камч. (Камч. сл., 190). Этимологически идентично рус. диал. ша́глы (ед. ч. ша́гла) 'жабра рыбы' сев.-рус., сиб., что обычно объясняется из карел. šagla, šagl 'жабра' (ЭСРЯ IV, 394). К семантическому переходу 'жабры' > 'часть рыболовной ловушки' ср. рус. диал. чамáшки 'жабры', 'устройство, открывающее вход рыбе в морду и закрывающее выход из нее', чáмоч, чáмы 'жабры', чáмочи 'двусторонние клапаны из гибких прутьев' камч. (Камч. сл., 185) < ительм. чамчам (с редупликацией) 'жабры рыбы' (Володин 1976, 126), 'дверца ловушки запора' (Старкова 1976, 162).

30. шүкша 'очес конопли' колым. (Колым. сл., 159), енис. (ИХСД, III). Ср. эрз.-морд. шукш (шукш прия 'сорная куча', 'место, куда выкидывают сор'), (?) коми уд. шуч 'тряпка' и др. < общеперм. *šus- < *šuk-šz- 'сор, нечто бросовое' (КЭСК, 325)? Коми диал. шукша (ССКЗД, s. v.) < рус.

Аникин А.Е. Финно-угорско-русские этимологические и лингвогеографические заметки. - Советское финно-угроведение, XVIII, № 2, 1987а.

Аникин А.Е. Из этимологических наблюдений над тюркизмами в русских говорах Сибири. II. - Диалектная лексика тюркских языков Сибири. Новосибирск, 1987б.

Аникин А.Е. Русские сибирские этимологии. - Этимологические исследования. Свердловск, 1988а.

Аникин А.Е. Этимологические заметки. - Общеславянский лингвистический атлас. Москва, 1988б.

Аникин А.Е. Тунгусо-маньчжурские этимологии. I. - Языки народов Сибири. Новосибирск, 1988в.

Аникин А.Е. Тюркизмы в русских говорах Сибири. II. - Грамматические исследования по тюркским языкам. Новосибирск, 1988г.

(Арх. сл.) Подвысоцкий А. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. Санкт-Петербург, 1885.

Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Ч. I. Москва, 1948.

Блинова О.И., Палагина В.В. "Русская советская энциклопедия" как источник диалектной лексикографии. Томск, 1979.

Володин А.П. Ительменский язык. Ленинград, 1976.

(ДСЯ) Диалектологический словарь якутского языка. Москва, 1976.

Зуев В.Ф. Материалы по этнографии Сибири XVIII века. Москва-Ленинград, 1947.

- Ивашко Л.А. Заимствованные слова в Печорских говорах.-Ученые записки Ленинградского университета, № 243, 1958.
- (ИХСД) Цомакион Н.А. Историческая хрестоматия по сибирской диалектологии. Т. II, вып. I. Красноярск, 1974.
- (Камч. сл.) Словарь русского камчатского наречия. Хабаровск, 1977.
- (Колым. сл.) Богораз В.Г. Областной словарь русского колымского наречия. Санкт-Петербург, 1901.
- Крашенинников С.П. Описание земли Камчатки. Москва-Ленинград, 1949.
- (КСРГС) Картотека словаря русских говоров Сибири (Институт истории, филологии и философии СО АН СССР, Новосибирск).
- (КЭСК) Лыткин В.И., Гуляев Е.С. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва, 1970.
- Линдберг Г.У., Герд А.С. Словарь названий промысловых рыб СССР и европейских стран. Ленинград, 1972.
- (Манг. сл.) Цомакион Н.А. Словарь мангазейских памятников XVII - первой половины XVIII вв. Красноярск, 1971.
- (Материалы) Материалы по истории Якутии. Ч. I. Москва, 1970.
- Миненко Н.А. Северо-Западная Сибирь в XVIII - первой половине XIX века. Историко-этнографические очерки. Новосибирск, 1975.
- (НРС) Терещенко Н.М. Ненецко-русский словарь. Москва, 1965.
- (Орлова) Открытия русских землепроходцев и полярных мореходов XVII века на северо-востоке Азии. Сборник документов. Составила Орлова Н.С. Москва, 1951.
- (Основы) Основы финно-угорского языкознания. Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков. Москва, 1974.
- Пелих Г.И. Происхождение селькупов. Томск, 1972.
- (СВХД) Терешкин Н.И. Словарь восточно-хантыйских диалектов. Ленинград, 1981.
- (Сл.РЯ XI-XVIII вв.) Словарь русского языка XI-XVIII вв., вып. 12. Москва, 1987.
- (СОС) Среднеобский словарь (дополнение). Ч. I. Томск, 1983.
- (СРНГ) Словарь русских народных говоров. Вып. 1-23-. Москва - Ленинград, 1966-1988.
- (ССКЗД) Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов. Сыктывкар 1961.
- (ССО) Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби. Т. I-III. Томск, 1964-1967.
- (СЯ) Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. Т. I-III. Без места, 1958-1959.

- Старкова Н.К. Ительмены. Материальная культура. XVIII - 60 гг. XIX в. Этнографические очерки. Москва, 1976.
- Терещенко Н.М. Нганасанский язык. Ленинград, 1979.
- (ТМС) Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Т. I-II. Ленинград, 1975-1977.
- (ФРУ) Фольклор Русского Устья. Ленинград, 1987.
- Хелимский Е.А. Селькупские заимствования в русских диалектах. - Советское финно-угроведение, XIX, № 3, 1983.
- Хелимский Е.А. Историческая и описательная диалектология самодийских языков. АДД. Тарту, 1988.
- Хелимский Е.А. Рец. на кн.: Rédei K. Uralisches etymologisches Wörterbuch. Lfg. 1. Budapest, 1986. - Этимология 1986-1987. Москва, 1989.
- (ЧКР) Инэнликэй П.И., Молл Т.А. Чукотско-русский словарь. Ленинград, 1957.
- Чайко Т.Н. Заимствованные географические термины в русских старожильческих говорах по нижнему течению Иртыша. - Русская ономастика и ее взаимодействие с апеллятивной лексикой. Свердловск, 1976.
- (ЭСРЯ) Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I-IV. Москва, 1964-1973.
- (ЭРКС) Этнография русского крестьянства Сибири. XVII - середина XIX вв. Москва, 1981.
- (ЮКС) Словарь русских говоров южных районов Красноярского края. Красноярск, 1968.
- (DEWOS) Steinitz W. Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. Lfg. 1-10. Berlin, 1966-1982.
- Donner K. Über die anlautenden labiale Spiranten und Verschlusslaute im Samojedischen und Uralischen. Helsinki, 1920.
- Helinski E. The language of the first Selkup books. - Studia Uralo-Altica, 22. Szeged, 1983.
- Rédei K. Die syrjänischen Lehnwörter im Wogulischen. Bloomington, 1970.
- Toivonen Y.H. Über die syrjänischen Lehnwörter im Ostjakischen. - Finnisch-ugrische Forschungen, XXXII, 1956.
- Steinitz W. Ostjakische Lehnwörter im Russischen. - Zeitschrift für Slawistik, 4, 1960.

О.Б. Ткаченко (Киев)
К ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ АСПЕКТУ
ДРЕВНЕЙШИХ ФИННО-УГОРСКИХ СЛАВИЗМОВ

Вопросы древнейших взаимосвязей этносов и их культур могут быть полностью решены только совместными усилиями представителей всех причастных к этому наук, список которых беспрерывно возрастает. Однако ввиду сложной системы понятий и терминов, как и способов аргументации каждой из них, обеспечить взаимопонимание их представителей чрезвычайно трудно. Выход из создавшегося положения видится поэтому не столько в усвоении каждым специалистом, наряду со своими необходимыми данными, сведений смежных наук, — это возможно лишь частично, — сколько в периодическом обмене полученными, интересными для всех, результатами с минимальным привлечением сугубо специальных выкладок и терминологии. Каждый специалист должен при этом сообщить остальным то доступное для всех видение изучаемых исторических процессов, на которое его уполномочивают данные его науки. Только после сопоставления полученных таким образом картин, даваемых каждой наукой, можно будет прийти к общим выводам, отобрав как наиболее надежные те свидетельства, которые подтверждаются данными их всех или их большинства.

Именно подобная интерпретация лингвистических фактов имеется в виду в данном случае. Цель ее не столько аргументировать языковые явления, представляющие собой древнейшие финно-угорские лексические славизмы, — это в основном уже сделано в предшествующих работах / SKES 1978, 194; SKES 1975, 1658/, /Ткаченко 1988, 42-53/, сколько попытаться ответить на вопрос о том, какие этнокультурные процессы стоят за ними.

С помощью сравнительно-исторических данных можно установить, что такие финские слова, как *seitsemän* "семь", *tammi* "дуб", *järvi* "озеро", *kimalainen* "шмель", *varpunen* "воробей" имеют — первое — соответствия во всех финно-пермских языках¹, второе — также во всех них /за исключением вепсского и саамского/, однако

¹ Фин. *seitsemän* "семь" — иж. *seitsemän*, кар. *šeitšemen*, вепс. *šeitšime*, вод. *seitše*, эст. *seitse* /ген. *seitsme*/, лив. *seis*, саам. *kčinčem*, мер. **šežum* / **šizum*, морд. *Э, М* *сисем*, мар. *шым/ыт* /, мар. *Г* *шым*, удм. *сизьым*, коми *З, П* *сизим* то же.

с заметным расхождением между формами финских и пермских языков², третье - соответствия только во всех финских языках³, четвертое и пятое - соответствия только в части прибалтийско-финских языков⁴. На основании этих данных можно реконструировать следующие праформы: финно-пермское *še(ŋ)šemä(n)⁵ "семь", финно-пермское *tompa "дуб" /с позднейшим прафинским *tomma и прапермским *torpa > tupa то же /, прафинское *jäyera(-ä) "озеро", прибалтийско-финские /?диалектные/*kimeli "шмель" и *varpu(-) "воробей". Отсутствие соответствий этим словам в других финно-угорских / и уральских/ языках заставляет видеть в них заимствования /или включения/ из другой языковой семьи. Эти соответствия обнаруживаются в индоевропейских языках, причем именно среди славянских. Реконструированные финно-пермские, общефинские и прибалтийско-финские праформы позволяют вывести себя из лежащих в их основе раннепраславянских /протославянских/ слов *se(m)tseman (-ɔn) /< *septemon/ "седьмое", *dǫba(-ɔ) "дуб", *jäyera(-ɔ) "озеро", *kimelī "шмель", *varbū "воробей", которые можно рассматривать только как наиболее древние, не сохранные памятниками, формы позднейших идентичных по значению праславянских *sedmo-(je), *dǫbъ, *(j)ezero, *šmelъ, *vorbъ /др.-р. *vorǫbъ/. Приведенных древних праславянских заимствований /включений/ в финно-угорских языках немного, очевидно, не только потому, что до сих пор их специально не искали, а и потому, что в своей древнейшей форме праславизмы малоотличимы от других индоевропеизмов. Что касается данных примеров, то они сравнительно легко выделяются на фоне индоевропейских языков как праславянские благодаря чертам, свойственным именно славянским языкам и хорошо известным языковедам-славистам /отсутствие звука -r- в основе слова со значением "седьмое", действие закона открытости слогов, носовой гласный -ɔ-, само слово *dǫba /-ɔ/,

² Фин. tammi "дуб" - кар., иж., вод. tammi, эст. tamh, лив. tāh, мер. *toma(-ə), морд. Э, М, мар. тумо, мар. Г тум, коми Э/др. перм./ тупу, коми П тыпу, удм. тыпы то же.

³ Фин. järvi "озеро" - кар., иж. järvi, вепс. järvi, вод. jarvi, эст. järvi, лив. jāra, саам. Hjaw're, мер. *jähre, морд. Э эрьке, морд. М эрькке, мар. ер, мар. Г йяр то же.

⁴ Фин. kimalainen "шмель" - кар./ливв./ kimalah, вод. tšimo, tšimo lain, эст. kimalane, kimeline то же; фин. varpunen "воробей"-кар./ливв./ varpuni, varbune, вод. värho, värho, эст. varblane, värb то же.

⁵ На основании вариантов, предложенных Б.А.Серебренниковым /ИМЯЯ 1967, 112/ и К.Редеи, И.Эрдеи /ОФУЯ 1974, 1, 433/.

славянокое новообразование на индоевропейской основе и т.п./.

Несмотря на небольшое количество приведенных слов, они дают возможность прийти к важным выводам относительно этнокультурных связей финно-угров и славян и их характера.

Прежде всего они свидетельствуют о том, что первые контакты со славянами совпадают с распадом финно-угров на финно-пермскую и угорскую языковые ветви. Именно носители финно-пермских языков первыми из финно-угров соприкоснулись со славянами. Угры длительное время никаких связей с ними не имели. Поэтому ни один из приведенных древнейших славизмов не выступает в угорских языках. Слово со значением "семь" в угорских языках также является заимствованием, однако не из праславянского, а, как полагают, праарийского /праиндоиранского/ языка⁶. Слово со значением "дуб" заимствовано в венгерский из древнесетинского /аланского/ языка.⁷

Наиболее древним по форме как в славянских, так и финно-пермских языках является слово со значением "семь/с седьмое/". Это говорит о том, что оно проникло в финно-пермский вскоре после его выделения из финно-угорского, а, следовательно, задолго до его распада.

Слово со значением "дуб" проникло, видимо, в финно-пермский праязык незадолго до его расчленения на финскую/западную/ и пермскую /восточную/ ветви. Об этом говорят его сильно разнящиеся формы в финской и пермской языковых ветвях, хотя их еще можно возвести к общей финно-пермской праформе.

Заимствование числительного, обозначающего число первого десятилетия "семь", говорит об интенсивности финно-пермско-славянских контактов, однако не обязательно предполагает, что в это время финно-пермяне проникли на славянскую территорию. Ведь единицы счисления, предполагающие их употребление в процессе торговли /обмена/ между этносами, могли заимствоваться и при соседстве с разделяющей их границей.

Иначе обстоит в случае заимствования слова со значением "дуб". Скорее всего данный факт свидетельствует о том, что в это время финно-пермские племена уже проникли на славянскую территорию.

⁶ Ср. венг. hét, манс. sat, хант. labeth < праар. * septa /др.-инд. sapta, авест. hapta /.

⁷ Ср. венг. tölgy "дуб" - осет. tūldz/toldzæe то же; в хантыйском и мансийском слово дуб, позднее заимствование из рус., осталось экзотизмом, т.к. на территории этих народов дуба нет. .

Ввиду того, что прародина финно-угров располагалась в зоне тайги, где дуба нет, слово вместе с соответствующей реалией стало известно финно-пермякам только при переселении с их прародины на территорию, занятую славянами. Поскольку зона распространения дуба тянется на севере несколько южнее Вологды и Перми до Уральско-го хребта, а на востоке имеет своей границей его западные склоны, следует полагать, что ко времени проникновения финно-пермян на славянскую территорию она могла на востоке граничить либо с западными склонами Урала, либо по крайней мере доходить до низовьев реки Вятки и Камы. Иначе трудно было бы объяснить проникновение раннего праславизма * *dyba* /-з/ "дуб" в пермские языки, носители которых к западу от этой территории не продвинулись.

Очевидно, позднейшее отсутствие славян на территории центральной и восточной частей европейской России явилось результатом их вытеснения, а частично ассимиляции финно-уграми. Именно о последнем, т.е. о частичной ассимиляции местных славян финно-уграми, финскими племенами в целом и прибалтийскими финнами, говорит наличие в общефинском слова со значением "озеро", а в прибалтийско-финском слов со значением "шмель" и "воробей". С точки зрения заимствования подобные слова совершенно избыточны и неоправданы. Однако как включения в свой второй /финно-угорский/ язык носителями первого /праславянского/ при их переходе с этого первого на второй язык слова эти вполне объяснимы и естественны. Ведь при ассимиляции субстратными словами-реликтами во вновь усвоенном языке за частую становятся именно те, которые обозначают наиболее частотные, связанные с повседневной жизнью понятия.

Разумеется, нельзя отрицать, что у славян прибалтийские финны заимствовали много культурных понятий / об этом свидетельствуют, напр., такие слова, как фин. *kuontalo* "кудель", *akkuina* "окно", *palttina* "полотно". Однако факт этот давно известен и в доказательствах не нуждается. Менее известно то, что, как об этом неопровержимо свидетельствуют приведенные языковые данные, часть славян была финнизирована. Очевидно, именно ассимиляция славян, а также и других народов финно-пермянами, вызванная их распространением на обширной территории, способствовала в конечном счете тому, что первоначальное финно-пермское единство распалось впоследствии на целый ряд отдельных языковых групп и языков. На основании одних языковых свидетельств можно только говорить об относительной

хронологии процесса распада финно-угорского языкового единства, отдельные этапы которого отражают, в частности, древнейшие славянские заимствования и включения в финно-пермских языках. Установить абсолютную хронологию поможет, очевидно, привлечение других, внеязыковых, данных.

/Редей, Эрдей ОФУЯ 1974/ Редей К., Эрдей И. Сравнительная лексика финно-угорских языков. - Основы финно-угорского языкознания. Москва 1974.

/Серебренников ИММЯ 1967/ Серебренников Б.А. Историческая морфология мордовских языков. Москва 1967.

/Ткаченко 1988 / Ткаченко О.Б. Славянские заимствования в неславянских языках как источник древнейших славянских реконструкций. - Слов'янське мовознавство /Доповіді/. Київ 1988.

/ SKES 1978 / Toivonen, Y.H. Suomen kielen etymologinen sanakirja. I. /Kolmas, muttamaton painos/. Helsinki 1978.

/ SKES 1975/ Itkonen, E., Joki, A.J., Peltola, R. Suomen kielen etymologinen sanakirja. V. Helsinki 1975.

РУСЬ И ЧУДЬ. К ПРОБЛЕМЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТОВ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ I ТЫС. Н.Э.

1. В космографическом введении к Начальной русской летописи (Повесть временных лет, далее – ПВЛ) русь и чудь открывают список народов, помещенных в "Иафетовой части": "русь и чюдь и вси языци: меря, мурома, весь, морьдва, заволочская чюдь, пермь, печера, ямь... Ляхове же и пруси, чюдь приседятъ к морю Варяжьскому". Ниже к "Афетову колену" причисляются западноевропейские народы, среди которых русь упомянута вновь, замыкая список скандинавских племен: "варязи, свеи, урмане, готе, русь..." В этом тексте обращают на себя внимание два момента. Во-первых, двоекратность упоминания наименований "русь" и "чудь": с одной стороны, в числе других этнонимов (русь в ряду скандинавских, чудь – финских и балтских народов), с другой – в противопоставлении другим этнонимам – "всем языцем". Во-вторых, выделение и соединение среди многих других именно этих двух наименований, что поддерживается другими случаями их объединения: в перечне народов, "иже дань дають Руси: чюдь, меря, весь..." в легенде о призвании варягов, где "русь, чюдь, словене, и кривичи и вси" обращаются "к варягом, к руси" и др. Упоминание руси среди племен, признающих ту же русь, обычно объясняется влиянием космографического введения, где русь и чудь названы рядом; А.А.Шахматов считал, что оба наименования вставлены в Начальный свод составителем ПВЛ, – основываясь, правда, на внетекстологическом соображении, что призывать трех князей должны три племени (а не пять поименованных), и находя подтверждение этому в известии ПВЛ о том, что дань Олегу шла от трех племен: словен, кривичей и мери. Эти же три племени: словене, кривичи и меря – названы в Новгородской первой летописи (далее – НПЛ) как "новгородстии людие", имеющие свою волюсть. Чюдь, также владеющая "своим родом", к "новгород-

ским людям" не причислена, но называется в числе тех, кто платил дань варягам, изгонял их и призывал русь. Однако летопись не дает оснований для установления соответствия между призванными князьями и призвавшими их племенами: Синеус садится в Белоозере у веси, а не у мери. Поэтому исключать чудь из числа племен, призывавших князей, нет оснований, и состав Новгородской конфедерации обычно восстанавливается с включением в перечни чуди (В.Т.Пашуто, В.Л.Янин). Вместе с тем, обособление чуди от племен, составляющих "новгородских людей", думается, показательно, и свидетельствует об особом положении чуди в конфедерации.

В последующих сообщениях ПВЛ чудь принимает участие в походах тех князей, которые опираются на Новгородскую конфедерацию: тот же Олег ведет на греков (907 г.) "множество варяг, и словен, и чюдь, и словене, и кривичи, и мерю, и деревляны...", причем очевидно, что в первом случае упоминание словен — вставка: список воспроизводит состав войска Олега, идущего в Киев: "варяги, чюдь, словене...", а "варяги" заменяют в них "русь", поскольку, по ПВЛ, "русью" после взятия Киева Олегом именуется дружина киевского князя (в походах Игоря и Святослава). Далее, в походе Владимира на Полоцк, осуществленном из Новгорода (980 г.), принимают участие "варяги и словени, чюдь и кривичи". Наконец, Владимир "нарубает" лучших мужей для заселения вновь отстроенных крепостей по Стугне и Суле "от словен, и от кривич, и от чюди, и от вятич".

Таким образом, чудь — единственный из названных в космографическом введении балтийских и финских народов, упоминаемый в ПВЛ до 1040-х гг. (причем *II* раз), — по представлениям летописца, входит в состав Новгородской конфедерации племен; вынуждена, как и другие ее члены, платить дань каким-то "варягам", которых изгоняет; призывает "русь" вместе с другими племенами — и с этого момента оказывается в неразрывной связи с "русью" (варягами и/или русским государством в лице великого князя) и в особом, по сравнению с другими членами конфедерации,

положении: участвуя в деятельности Новгородской конфедерации и в военных походах русских князей, она не принадлежит к "новгородским людям", не входит в число племен, которыми "обладает Рюрик", а также не упомянута в списке племен, как платящих Олегу дань, так и получающих дань по "уставу" Олега, т.е. не связана с Древнерусским государством данническими отношениями (ср. мнение А.В.Кузы, что "древний союз руси и чуди", хорошо известный летописцу, восходил к эпохе призвания варягов).

На чем же может быть основана эта специфическая связь чуди и руси?

2. Интенсивные двусторонние контакты эстонских племен со Скандинавией — Готландом и Средней Швецией — прослеживаются с середины I тыс. н.э.: находки скандинавских древностей на о-вах Сааремаа (сканд. *Eysysla*), Хиумаа (*Dagö*), на северо-западном побережье Эстонии (каменный могильник Прооза около Таллина, раскопки К.Де-еманта), а также древности эстонской культуры каменных могильников на Готланде и в Средней Швеции (торгово-ремесленное поселение в Хельгё, V-VIII вв.) и даже собственно эстонских каменных могильников (V-VII вв., данные Б.Амброзиани) свидетельствуют как о постоянном присутствии скандинавов, прежде всего свеев, в Эстонии, так и "эстов" на Готланде и особенно в Средней Швеции с середины I тыс. н.э. Отражением весьма древних и, возможно, кровнородственных контактов жителей Свеаланда и эстов является распространение имени *Eistr* и производных, засвидетельствованных шведскими руническими надписями XI в. Все это свидетельствует о древности тесных взаимосвязей скандинавских и "эстских" племен и существовании морского пути между Свеаландом и Финским заливом вплоть до устья Невы по крайней мере с середины I тыс. н.э. (см. также находки скандинавских предметов этого времени на о. Тютерс в Финском заливе). Наиболее ярко выраженной (по данным археологии) контактной эстско-скандинавской зоной был северо-запад Эстонии.

Дальнейшее продвижение скандинавов в глубь Восточ-

ной Европы по Неве, Ладожскому озеру и далее осуществляется по территории, населенной финскими племенами, и отмечено основанием в середине УШ в. Старой Ладоги, где обнаружены многочисленные скандинавские и финские, балтские и славянские древности. Соответственно Приладожье рассматривается как основная территория, на которой осуществлялись первоначальные скандинаво-финско-славянские связи (ср. специфическую культуру курганов Приладожья, которая совмещает скандинавские, финские, а затем и древнерусские черты и которую в последних исследованиях относят к "приладожской чуди" - В.А.Назаренко). "Двойственное" положение руси на Балтийском море, среди "варягов" и среди народов Юго-Восточного Приладожья (согласно введению в ПВЛ), вероятно, указывает на традиционную "внедренность" руси в землях чуди или на непосредственное соседство с ней, возможно, в Ладоге.

3. На ранние этнические контакты определенный свет проливает история происхождения и взаимного употребления этнонимов всех трех контактировавших этнических групп.

Скандинавы получают в прибалтийско-финской среде наименование эст. rootslane , фин. ruotsalainen (совр. "шведы") от эст. Rootsi , фин. Ruotsi (совр. "Швеция"), заимствование которого, по языковым данным, вероятно, относится к УІ-УІІ вв. Исходным для заимствования стал, видимо, один из композитов с первой основой др.-сканд. *gōf(e)r , имевший значение "гребец, участник похода на гребных судах". Социальный (дружинный) термин превратился в этносоциальное понятие в прибалтийско-финской (вероятно, прежде всего в эстской) среде. При включении в межэтнические связи Северо-Запада славян этот термин заимствуется ими в форме "русь" также для обозначения дружин скандинавов в Восточной Европе, но после вокняжения скандинавской по происхождению династии и сложения Древнерусского государства приобретает расширительное значение уже в начале X в. и переносится на территорию, подвластную "русскому" князю, и ее население. "Русь" как обозначение скандинавских дружин в Вос-

точной Европе, замещается названием "варяги", а наименованиями самих скандинавских племен становятся собственно скандинавские этнонимы: донь, свеи, урмане, готы.

Финские племена на совр. территории Эстонии получают два независимых наименования у разных этносов: эсты и чудь. Первое, неясной этимологии (Я. де Фрис), исконно для всех германских языков, откуда, видимо, оно распространяется по всей Европе (позднее оно проникает и на Русь). В древнейших его упоминаниях – в связи с рассказами о Янтарном пути у Тацита (I в. н.э.) и Кассиодора (п.п. VI в.) – эстии (*estii*) локализируются в устье Вислы. Эйнхард (IX в.) помещает их рядом с прибалтийскими славянами; по мнению Альфреда Великого (конец IX в.), восточная граница Эстланда – р. Эльбинг. Таким образом, в европейской (но не скандинавской) традиции либо эстиями называются не финские племена Эстонии, а балтские (?), обитающие значительно западнее, либо этноним имеет крайне широкое и неопределенное содержание, включая балтов и финнов, населявших Восточную Прибалтику от Вислы до Финского залива (Г.Лябуда). В древнейших же письменных памятниках Скандинавии, скальдических стихах (X в.), обозначение *Eistland* однозначно применяется к землям, входящим в современную Эстонию, также как *eistir* является наименованием эстских племен.

Второе наименование распространено в древнерусском языке и является, по общему мнению, дериватом праслав.

* *tjudъ* "чужой", заимствованного из готск. *þiuda* (< герм. **þeudō*) "народ". Кардинальным для реконструкции ранней истории этнонима является различие Иорданом (сер. VI в.) народов *estii* и *thiudi* , относимых им, хотя и в разных контекстах, к числу восточноевропейских племен, подчиненных Германарихом. Локализация первых неопределенна: они живут на берегах Германского (Балтийского) моря; вторые названы в перечне восточноевропейских народов, среди которых поименованы, как считается, финские племена весь, меря, мордва, а также ряд неидентифицированных народов. Употребление Иорданом этих этнонимов

мов, во-первых, подтверждает или нетождественность раннесредневековых эстив эстам X в., или неоднозначность соотношения этнонима и этноса в западноевропейской и в северо-европейской традициях; во-вторых, указывает на готскую среду, в которой возник этноним *thiudi* и из которой он поступил к восточным славянам (отметим, что другие этнонимы прибалтийских племен в древнерусском — адаптация местных названий). Вряд ли при этом он мог иметь узко этническое значение, если учесть, что в это время восточные славяне не имели непосредственных контактов с прибалтийскими финнами (в этом случае вероятнее было бы появление финского этнонима). Именно эта первоначальная неопределенность в соотношении наименования с конкретным народом, вероятно, дала возможность впоследствии для его и расширительного, и узкого понимания, а также распространения его на другие финские племена в новых зонах славянской колонизации (заволочьская *чудь*).

Наконец, название восточных славян в древнескандинавских языках является поздней транскрипцией обобщенного "русский" — *riuskR* в датской рунической надписи начала XI в., а в западнофинских языках — производным от корня *vene-* (фин. *venäläinen*), более ранним и независимым от сложившегося, по нашему мнению, в X в. этнонимического обозначения "русский".

Перекрестная история этнонимов, как нам кажется, проливает некоторый свет на относительную хронологию скандинаво-финско-восточнославянских контактов (более позднее включение восточных славян в уже сложившуюся систему скандинаво-прибалтийскофинских отношений, первичность собственно славяно-финских контактов) и на особый этно-социальный контекст восприятия названий "русь" и "чудь" для обозначения скандинавов и прибалтийских финнов восточными славянами.

4. Таким образом, вырисовывается следующая картина контактов трех этнических групп на Северо-Западе Восточной Европы. Тесные (вплоть до родственных) связи жителей Свеаланда и финских племен современной Эстонии установ-

ливаются в середине I тыс. н.э., хотя определенные контакты существовали уже с начала I тыс., когда готы, продвигаясь от устья Вислы в Северное Причерноморье, дали прибалтийским финнам название *thiudi*, усвоенное позднее восточными славянами в форме "чудь" как широкое собирательное обозначение неславянского населения северо-западных областей Восточной Европы. Продвижение славян на север привело к их непосредственным контактам с финскими народами Прибалтики, на которых было распространено название "чудь", а позднее — и со скандинавами, для которых было усвоено прибалтийско-финское обозначение *ruotsi* в форме "русь".

В процессе консолидации разноэтничных племен Северо-Запада, включая чудь, новообразованная политическая структура нуждалась в установлении власти, нейтральной по отношению к племенным интересам и способной обеспечить защиту от нападений викингов. Обращение к *ruotsi* — "руси", вероятно, было обусловлено более тесными и давними связями с этой группой скандинавов одного из членов конфедерации — чуди. Заключение договора — "ряда" с "русью" поставило чудь в особое по сравнению с другими членами конфедерации положение, союзническое, а не данническое, сохранявшееся по крайней мере в X в.

5. Лишь начиная с 1030 г. в ПВЛ и НПЛ появляются сообщения о походах русских князей в эстонские земли (Ярослава в 1030 г., Изяслава Ярославича в 1060 г.), об основании города Юрьева, о взятии эстонского города Медвежья голова и др. Вместе с обобщенным названием "чудь" появляются самоназвания отдельных эстских племен: "сосола", "торма", "ерева", вместо кривичей и словен, выступающих вместе с чудью, с сосолой сражаются псковичи и новгородцы. И характер отношений, и их восприятие летописцем существенно изменяются. При этом походы на чудь совершают как новгородские, так и киевские князья: вероятно, эти походы имели целью установить новые отношения между Дреннерусским государством и чудью. В начале XIII в. часть эстонской территории включается в Новгородскую землю, о чем пишет НПЛ под 1212 (1210) г. в связи с походом на чудь, "рекою Торму", Мстислава, ставшего новгородским князем: "и поклонишася Чюдь князю, и дань на их взя".

ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИЕ ОСНОВЫ НАЗВАНИЙ НОВГОРОДСКОЙ
ЗЕМЛИ СЛАВНО, ИЛЬМЕНЬ, МЕРЯ

На правом берегу Волхова расположен Славенский конец Новгорода, Славно, название которого *opinio communis* производит от этнонима ильменских словен. Однако корневая огласовка сопоставляемых названий различна, что указывает на их этимологическую разницу: в ранней новгородской традиции этноним употреблялся с р-огласовкой, что исключает связь с ним названия конца Славно (этноним ильменских славян в НЛЛ (Новгородская I летопись), древнейшем памятнике местного летописания, и в остальных новгородских летописях имеет за редким исключением чистую книжную этимологию р-огласовку: словене; напротив, название городского конца выдерживает исключительно д-огласовку: Славно, *Славньньскъ > Славньньски, Славенский конец). Этот конец существовал уже в X в. — открытый раскопками древнейший уличный настил относится к 974 г. Название Славно зафиксировано в НЛЛ под 1105 г., следовательно, оно существовало по меньшей мере с рубежа XI — XII вв. Значение топонима, согласно Г.Бореку, связано со славянской основой *slav- "струиться, кропить" (Borek 1968, № 216), т.е. это гидронимическое производное. Дело действительно могло бы обстоять так — так — во, без сомнения, происхождение названия реки и деревни при ней Славна в Боровицком районе Новгородской земли. Однако в случае с названием городского конца такая этимология наталкивается на то неодолимое препятствие, что ни в районе Славенского конца, ни в Новгороде в целом гидронима Славно нет, т.е. отсутствует то водное название, которое перешло бы на обозначение конца (как в приведенной паре — гидроним Славна определил эквивалентное название деревни при речке). Поэтому остается думать о связи данного топонима Славно со словами слава, славный, представленными в ряде названий новгородской земли: деревня Славница, пустоши Славная, Славятино, Славитино,

урочище Слава и вторичные образования от тех же основ - озеро Славково, деревня Славковичи, Славкова улица в Новгороде и т.д. Такому значению основы, однако, противоречит топографический характер суффиксации форм Славьно, *Славьньскъ, предполагающий наличие в названии топографической же основы, а не отвлеченного понятия (см. о характере суффиксов -ьнь-, -ьскъ: Роспонд 1972, 20, 26, 27). Это обстоятельство заставляет искать объяснение возникающему противоречию между характером основы и суффикса. В порядке гипотезы высказываем предположение о субституированном характере основы славьнь (т.е. славное) в названии новгородского конца. Иначе говоря, основа слав- сменила предшествующую, близкую по значению славянскую основу мер- "великий, знаменитый, славный", т.е. названием Славьно было заменено предшествующее название *Мерьно. Последнее, судя по соотношению топографической суффиксации и нетопографической основы, также не было первоначальным естественным названием, а являлось славянской адаптацией по созвучию туземного названия поселка - *Merēn(külä), естественного прибалтийско-финского наименования (ср. фин., эст. meri, вепс. mefi "море", саам. mer; в финском, южнокарельском и вепском со следами семантики "большое озеро"), имевшего смысл "(при)озерный (поселок)", т.е. расположенный неподалеку от озера Ильмень. Иначе говоря, основа meri первоначального прибалтийско-финского названия поселка *Merēn(külä) была заменена у славян созвучным словом мерь, которое с суффиксацией -ьнь, повторяющей по созвучию суффиксацию прибалтийско-финской основы (генитив -en), дало топоним *Мерьно. Поскольку слово мерь было архаическим, вышедшим из употребления, оно было субституировано близкой по значению основой слав-.

Предлагаемая гипотеза о прототипе названия Славьно - *Мерьно как адаптации прибалтийско-финского названия древнейшего поселка *Merēn(külä) может быть аргументирована реликтовым прибалтийско-финским наименованием Ильменя *Meri "Озеро", сохранившимся, на наш взгляд,

в форме Илмерь, которая употреблялась до появления в XVI в. формы Ильмень. Название Илмерь трактуется в литературе как отражение западного приоб.-фин. *Ilmajärvi со значением "Озеро, делающее погоду". Однако такое значение гидронима явно искусственно, и ничто не препятствует нашему взгляду на форму Илмерь как на композит с прибалтийско-финской основой meri "море, большое озеро", особенно ввиду раннего его названия Моикса "Озеро" (последнее сохранено хронографической легендой XVII в. о предьстории Новгорода и бытовало в XIX в.; оно входит в ряд гидронимических основ макса, мукса, мокса, мукса "озеро", распространенных в субстратной топонимии Севера и Северо-Запада; см. о них: Поспелов 1970, 99)¹. Значение первого компонента названия Илмерь то же, надо полагать, что и в близких по смыслу гидронимах Карелии, Новгородской и Архангельской областей Илокса, Илекса (где окса, екса "река"), Ильмаса (река в бассейне Паши, притока Свири; исходная форма, согласно Е.М.Поспелову, Ильмакса: Иль + макса "озеро, река"); прибалтийско-финская основа со значением "верхний" - фин. *ylä-*, карельск., вепс. *ül'a-*, эст. *üle-*). Прибалтийско-финской гидронимии известен свойственный различным языкам тип номинации гидрообъектов по оси "верх" - "низ"; так в Карелии представлены пары Алоозеро (т.е. Нижнее) - Юляярви (Верхнее озеро), Алоозеро - Юлоозеро. Таким образом, название Илмерь прибалтийско-финское по происхождению - *Ül(a)meri - и имеет значение "Верхнее озеро". Это подтверждается, с одной стороны, названием Ладога - на наш взгляд, элементом былой гидро-

1. Наличие *i* в основе названия Моикса может быть объяснено посредством реконструкции формы *Moksja, где *-ja* - прибалтийско-финский локативный суффикс, образующий названия типа *Kalaja*, к *kala* "рыба", со свойственным прибалтийско-финским языкам перемещением *i*-компонента второго слога в первый, как, например, в ливском *laïga* < *lagja.

нимической номенклатуры с оппозицией "верхний" - "нижний" в системе Ильмень - Волхов - Ладожское озеро, а с другой стороны, формой Ильмень, которая, отражает прибалтийско-финскую основу со значением "верхний" (ср. эст. ülemene, ülemine) (Трусман 1895, 3)¹.

Приб.-фин. * Ülemene (= русск. Ильмень) как эквивалент ü1(a) - первого компонента полного прибалтийско-финского наименования озера * Ü1(a)meri (= русск. Илмерь) является самостоятельно бытовавшей сокращенной формой названия озера. Так же самостоятельно мог упо-

1. Й.Миккола объяснял название города Ладога через наименование речки Ладожки - к * Alode-jogi , где *alode (> фин. aloe , aloo-) обозначает "находящуюся внизу местность"; Ладожка, отмечал Миккола, - самый нижний из притоков Волхова (Миккола 1906, 1 и сл.). Миккола исходил из местной, приладожской ситуации, что и вызвало ремарку М.Фасмера: непонятно, как название небольшой речки могло быть перенесено на большое озеро. Но в свете предложенной нами модели "верхний" - "нижний", где Илмерь - "Верхнее озеро", этимология Микколы приобретает иной смысл: название Ладога относится к нижнему течению Волхова, т.е. * Alodejogi - это "река внизу", "нижняя река" относительно Илмеря. Иначе говоря, это элементы прибалтийско-финской номенклатуры гидросистемы Ильмень - Волхов - Ладожское озеро. Два сохранившихся элемента этой номенклатуры - * Ü1(a)meri (= Илмерь) "Верхнее озеро" и * Alodejogi "Нижняя река", т.е. нижнее течение Волхова, - позволяют домысливать en pendant к ним утраченные компоненты номенклатуры - наименование Ладожского озера "Нижним" относительно "Верхнего" (Ильменя) и "Верхней реки", верхнего течения Волхова, относительно Ладоги, нижнего отрезка Волхова. Впрочем, такое домысливание всех парных элементов необязательно: к Нижней реке Новгородской земли не нужно домысливать "Верхнюю", г.к. нижней она могла быть и относительно села или горы, к примеру.

требляться и второй его компонент – как Meri , т.е. просто "Озеро", аналогично древнейшему его наименованию Моикса "Озеро" (ср. также прибалтийско-финское наименование Ладоги Нево – "Озеро", а с той же основой meri – Меревское озеро в Водской пятине, у реки Оредеж). Отзвуком прибалтийско-финского названия Ильменя * Meri является, на наш взгляд, куст наименований в южном Приильменье – река Морья и поселок Морева на ней, еще несколько селений Морева, Марева, Марева Русса, одно из которых располагалось на берегу Ильменя. След самостоятельного бытования сокращенного наименования Ильменя * Meri просматривается и в перечислении племенного состава новгородской земли местными летописями: "Новгородстии люди, рекомии Словени, и Кривици, и Меря" (НЛД). Здесь Меря в обычном понимании данного текста исследователями – этноним верхневолжского финно-угорского народа. Однако та меря обитала далеко от Новгорода – у Переяславского и Ростовского озер, так что не она подразумевалась новгородскими хронистами в приведенном пассаже. Присутствие мери в этом пассаже обязано именно новгородским летописцам, ибо это же перечисление народов новгородской земли присутствует и во введении к "Повести временных лет", памятнике киевского летописания, но вместо мери там фигурирует весь (ПВЛ, 1950, I, 18: "русь, чюдь, словени, и кривичи, и вси", т.е. весь). Переработавшие это вступление в соответствии со своими этногеографическими представлениями новгородские летописцы, естественно, имели основания для замены веси мерей, но в дальнейшей ученой традиции эта замена потеряла первоначальный смысл, и под мерей стали понимать верхневолжскую мерю. Поскольку последняя, как отмечалось только что, не могла иметь отношения к Новгороду и тем более быть равнозначной веси, можно заключить, что меря новгородских летописцев как эквивалент веси – это другое наименование последней по обитанию у озер (приб.-фин. meri) – Ладожского, Онежского, Белого, Ильменя. Именно такое обозначение применительно к белозерской веси находим в Воскресенской ле-

тописи, называющей последнюю Мерской Весью. Эта запись под 1147 г., безусловно, является эксцерптом из древнейшего текста (скорее всего из выделяемого исследователями в числе источников "Повести временных лет" повести о крещении Руси): "Володимеръ крестися и все земли наша крести: Русскую, и нашу Словенскую, и Мерску и Кривичску Вось, рекше Белозерскую, и Муромъ, и Вятичи и прочаа" - ПСРЛ, т. 8, 160). Значение определения Мерска при Вось поясняется тут полукалькой (Бел)озерская, т.е. речь идет об озерной (приб.-фин. *meri*) веси. В Белозерье присутствует вепская топонимика, подтверждающая, по мнению ее исследователей (А.И. Попов, Д.В. Бубрих, Н.И. Богданов), локализацию здесь летописной веси. В связи с этим можно привести достаточно правдоподобное сообщение новгородской хронографической легенды о том, что весь появилась тут из новгородской земли. Пришлый характер веси подтверждается данным в Воскресенской летописи определением белозерской веси как Мерской и Кривичской, что указывает на происхождение ее из новгородской земли, где сосуществовало кривичское (т.е. ославяненное балтское) и прибалтийско-финское население, называвшееся, как мы полагаем, мерским по факту обитания у Ильменя = приб.-фин. **Meri*. Этой мере новгородской летописи, т.е. прибалтийско-финскому населению Приильменя, и мог принадлежать предшественник Славянского конца, называвшийся **Merēn(külä)* - "(Поселок) у Озера", название которого определялось расположением его вблизи Ильменя (**meri*). Новгородские славяне, как мы предположили, адаптировали его как **Мерь-*но, понимая последнее в качестве топонима с основой *мер-*, т.е. Славно.

Borek H. Zachodniosłowiańskie nazwy toponimiczne z forantem -n-. Wrocław 1968.

Mikkola J.J. Ladoga, Laatokka.- Journal de la Société Finno-ougrienne. 1906, t.23.

Роспонд С. - В кн.: Восточнославянская ономастика. М. 1972.

Поспелов Е.М. - В кн.: Местные географические термины. М. 1970.

Трусман Ю. - В кн.: Известия Русского географического общества, т. 21.

СЛАВЯНСКИЕ /НОВГОРОДСКО-ПСКОВСКИЕ/ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИХ ЯЗЫКАХ: -а и -и В РЕФЛЕКСАХ ИМЕН МУЖСКОГО РОДА

Поскольку источником основной массы славянских заимствований в ПФ языках являются не собственно восточнославянские диалекты, а диалекты Псковской и Новгородской земель, проникшие на Русский Северо-Запад в У1-УП вв. с запада и юго-запада /Седов 1982/, в этих заимствованиях обнаруживаются специфические черты, определяющие особое положение этих диалектов в славянском языковом мире /см. о древненовгородском диалекте-койне: Зализняк 1986; 1988а; 1988б и о диалекте псковских кривичей: Николаев 1988/. В их числе - отсутствие т.н. второй палатализации заднеязычных согласных /фин. *käämi*, *käävi*, эст. *kääv* "цевка, шпулька" < слав. **kǫvъ* - не **čǫvъ*/, -*gl*-на месте общеслав. **-dl-* и "общевост.-слав." -*l-* /эст. *vigl* "вилы" при слав. **vidla*; венг. *muga*, эст. *mogl*, *mügl*, *mügl* "щелочь" при слав. **mydlo* "мыло"/.

Одновременно наиболее ранние славизмы в ПФ языках позволяют судить о наиболее архаичном состоянии новгородско-псковских диалектов, имевшем место задолго до их фиксации в новгородских берестяных грамотах. Они свидетельствуют о сохранении в У1-УП вв. - и, вероятно, в течение еще нескольких столетий - общеславянского неполногласного вида групп **torŋ* и под., долготной корреляции гласных, произношения **ъ* и **ь* как кратких *u* и *i* и в сильной, и в слабой позициях, ср. такие классические случаи, как фин. *palttina* "полотно" из слав. **polъno*, фин. *värttänä* "веретено" из слав. **vertenc*, фин. *akuna* "окно" из слав. **okъno*, фин. *lusikka* "ложка" из слав. **lъžьka*, фин. *naatti* "ботва" из слав. **natъ*, фин. *siivatta* "скотина" из слав. **životъ* и т.д. /Kalima 1956, 25-42/. Те же свидетельства дают и обратные заимствования, ср. др.-новг. /XУ1 в./ коломище "кладбище" из ПФ *kolmistu*, рус. диал. мерѣда, мерѣда "верша" из ПФ *merta*, др.-рус. солома, рус. диал. соломя "морской пролив" из ПФ *salmi*, гидроним Мста из ПФ *Musta* /"Черная"/.

Внимание исследователей неоднократно привлекала /Mikkola 1938, 40-43; Kalima 1956, 57-61; Plöger 1973, 284-285/, но не получила адекватного объяснения множественность в ПФ ауслаутом оформлении славянских имен мужского рода, из которых одни имеют в ПФ ауслаутный -а /-ä в основах переднего ряда/, а другие - аусла-

ушный -u /-ü/. Ср., с одной стороны, слав. *льнь > вод., эст. li-na или слав. *грѣхъ > фин. räähkä /аналогично в словах, соответствующих рус. бес, бодр, бок, внук, вор, враг, гуж, дьяк, квас, ковш, колоб, короб, край, круг, кум, лук, лыч "кочерыжка", мудр, -ник суфф., полк, порох, пуст, пух, ствол, стол, столо, сыр, хлев, хорт "борзая", ям/, и, с другой стороны, слав. *ladъ > фин. laatu или др.-рус. радль > фин. räätu /аналогично в словах, соответствующих рус. ад, боо, вар, *вороб "воробей", дух, ? мил, мир, пар, пир, рай, род, сак, сноп, толк, торг, ход, чай, шелк/,

Особые трудности для объяснения вызывал первый тип рефлексации, поскольку -а/-ä не могут быть объяснены ни как отражения -ъ, ни как вокалическая эпитеза в консонантных основах языка-источника: в заимствованиях из германских и других языков консонантные основы регулярно превращались в ПФ основы на -i, что встречается и в славянских /довольно редко/, а также в поздних русских заимствованиях.

Объяснить данное явление позволило обращение к результатам А.А. Зализняка /1986, 129-134; 1988а, 169-171/, установившего, что в древненовгородском диалекте о-основы мужского рода в им.п. ед.ч. регулярно имели вокалическое окончание, изображавшееся обычно графемой -е /ср. внуке "внук" и т.д./; фонетически этот гласный был, по крайней мере первично, не тождествен обычному -е /в частности, не создавал эффекта первой палатализации заднеязычных/ и скорее всего представлял собой среднерядный -э. Не вызывает сомнения, что именно этот гласный отражен как ПФ -а/-ä.

В другом типе рефлексации ПФ -u/-ü естественно рассматривать как закономерное продолжение слав. -ъ /краткий u/ в u-основах мужского рода, не принимавших в им.п. ед.ч. окончания -э.

Предложенное объяснение хорошо подтверждается сопоставлением приведенных выше перечней с другими данными о распределении славянских имен мужского рода по классам о- и u-основ. Среди слов с ПФ -а/-ä несомненными о-основами являются по крайней мере слав. *vesъ, *грѣхъ, *льнь, *рогъ, *рыкъ, *stolvъ, *vorgъ, *vъnukъ, *xlěvъ; u-основы можно было бы подозревать, по косвенным признакам, только для *крайъ, *krqgъ, *stьlbъ. Напротив, в перечне слов с ПФ -u/-ü "классическими" /см. Эккерт 1963/ или весьма вероятными u-основами являются слав. *mirъ, *pirъ, *rědъ, *rodъ, *тьlkъ, *тьrgъ, а по акцентологическим данным подольских говоров /см. Булатова, Дыбо, Николаев 1988, 59-60/ также *ladъ, *parъ, *varъ; вероятную первоначальную о-основу можно усматривать только в слу-

чае с *ходь.

Чрезвычайно показательна и системная аналогия: в славянском все и-основы двусложны /Эккерт 1963, 124/, и имена мужского рода из трех и более слогов относятся только к классу о-основ. В славянских заимствованиях ПФ языков тип рефлексации с ауслатными -ц/-й также полностью отсутствует в именах из трех и более слогов.

Представляется, что ПФ материал может служить ценным дополнительным источником при решении вопроса о первичном соотношении о-основ и и-основ мужского рода, указывая одновременно на длительно сохраняющуюся архаичность новгородско-псковских говоров в этом отношении.

Литература

Булатова Р.В., Дыбо В.А., Николаев С.Л. Проблемы акцентологических диалектизмов в праславянском. - В кн.: Славянское языкознание: X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988.

Зализняк А.А. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения. - В кн.: Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1977-1983 годов. М., 1986.

Зализняк А.А. Древненовгородский диалект и проблемы диалектного членения позднего праславянского языка. - В кн.: Славянское языкознание: X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988 /а/.

Зализняк А.А. Древненовгородское койне. - В кн.: Балто-славянские исследования 1986. М., 1988 /б/.

Николаев С.Л. Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. 1. Кривичи. - В кн.: Балто-славянские исследования 1986. М., 1988.

Седов В.В. Восточные славяне в У1-ХШ вв. М., 1982.

Эккерт Р. Основы на -й- в праславянском языке. - Уч. зап. Института славяноведения XXVII. М., 1963.

Kalima J. Die slavischen Lehnwörter im Ostseefinnischen. В., 1956.

Mikkola J.J. Die älteren Berührungen zwischen Ostseefinnisch und Russisch. Helsinki, 1938.

Flöger A. Die russischen Lehnwörter der finnischen Schriftsprache. Wiesbaden, 1973.

СЛАВЯНО-ФИННО-УГОРСКИЕ КОНТАКТЫ НА СЕВЕРЕ ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

В ходе расселения славян на севере Восточной Европы развернулся процесс их взаимодействия с финно-угорскими племенами, определивший значительное изменение этнокультурной ситуации в обширной зоне славяно-чудских контактов. Полностью исчезли с исторической арены, войдя в состав формирующейся древнерусской, а частично и средневековой русской, народности, летописные "иные языки" меря, мурома и мещера в Волго-Окском междуречье, чудь заволочская в бассейне Северной Двины. Ассимиляции подверглись основные подразделения веси, заселявшей Ладожско-Онежское межозерье, и значительные группы води и ижоры на северо-западе Новгородской земли.

Вопрос о взаимодействии "Руси и Чуди", о том, как они встретились и как одна сторона подействовала на другую (Ключевский 1987, 297), являлся традиционным в отечественной дореволюционной историографии и в работах 1920-30-х гг. Длительное время он решался в основном на использовании скудных письменных известий с частичным и довольно слабым привлечением данных лингвистики, этнографии и антропологии. Качественно новые возможности для реконструкции межэтнических процессов появились с накоплением фонда археологических источников. Особенно активизировалось археологическое изучение этой проблемы в последние десятилетия. Для исследований нового этапа в целом характерен региональный подход к теме, основанный на детальном анализе древностей определенного племенного образования или даже его локального подразделения.

Использование археологических материалов при их сопоставлении с иными видами источников позволяет наметить основные контуры этнокультурных процессов, выявить механизм, динамику и особенности протекавшей аккультурации и ассимиляции аборигенных группировок. Следует, однако, подчеркнуть, что реконструкция такого взаимодействия

крайне затруднена слабой изученностью или даже полной неисследованностью древностей чудских племен дорусского периода. Этнические традиции многих из них устанавливаются по субстратному наследию в памятниках, возникших в результате синтеза контактирующих групп или появившихся под влиянием мощного культурного импульса из славянских земель.

Начальный этап таких контактов относится еще к догосударственному периоду в истории Руси. С VI—VII вв. в ареале древнего финно-угорского расселения, на территории будущей Новгородско-Псковской земли получают распространение оригинальные погребальные сооружения — длинные курганы и сопки, прямо или опосредованно связанные со славянским освоением лесной зоны. В обряде и инвентаре этих памятников выделяются значительные субстратные элементы прибалтийско-финского происхождения. Они свидетельствуют о том, что местное население не покидало мест своего обитания, проживая совместно со славянами и постепенно смешиваясь с ними. Таким образом, ядро Новгородской земли сложилось в условиях славяно-финского симбиоза, а крупнейшие северные группировки восточного славянства — кривичи и словене новгородские — являлись наследниками культуры местных финнов, сформировавшимися в результате метисации носителей славянского языка с финноязычными аборигенами (Седов 1979, 75). Заслуживает внимания тот факт, что именно потомками этого населения, уже впитавшего значительный местный субстрат, осуществлялась впоследствии колонизация обширных пространств лесной зоны и ассимиляция летописных чудских племен.

К середине IX в. относятся первые датированные события русской истории. Под 859 г. в летописи приводится рассказ о дани, собранной варягами-находниками у северных славянских (словене, кривичи) и финских (меря, чудь, весь) племен; об изгнании варягов за море, начавшихся родовых междоусобицах и призвании в 862 г. на княжение Рюрика (ПВЛ 1950, 13, 18). Эти известия фиксируют существование на севере Руси ранней единой структуры

славянских и финских племен - возможно, предгосударственной конфедерации разноязычных группировок. По тем же источникам, сподвижники Рюрика оседают как в славянских "градах", так и в финских племенных центрах - у веси в Белоозере и у мери в Ростове.

Политические связи между северными славянскими и финскими объединениями отражены и в летописных известиях последующего времени. Период политической активности иноязычных федератов в событиях русской раннегосударственной истории завершается в X в., когда их имена исчезают со страниц письменных источников.

Важную информацию об этом периоде содержат археологические материалы. Они свидетельствуют о том, что установление начальных контактов между разноплеменными группировками в определяющей степени диктовалось их положением на крупнейших торговых магистральных того времени, связанных с международной торговлей. Особое значение в этом процессе имело функционирование Балтийско-Волжского водного пути, проходившего через области славяно-финского расселения и осуществлявшего товарообмен между странами Северной Европы и Востоком. Установлено, что уже в IX в. выходцы из северо-западных земель, включившие в свой состав славян, ославяненных прибалтийских финнов и отдельные группы скандинавов, оседают на Верхней Волге, а впоследствии проникают в глубинные районы Волго-Окского междуречья. С этого времени устанавливаются первые, пока еще ограниченные политическими и торгово-экономическими связями контакты пришельцев с летописной (центральной или владимирской) мерей - крупной этносоциальной общностью, состоящей из нескольких малых поволжско-финских племен, которые заселяли побережья озер Неро и Плесеево и участки по течению Нерли Клязьминской (Горюнова 1961).

К X в. относится проникновение древностей северо-западного и скандинавского происхождения в земли летописной веси (Белоозерско-Шекснинской край), с считающейся с появлением здесь арабского серебра и болгарской кера-

мики (Голубева 1979, 131-137). В конце IX - начале X в. происходит сложение яркой и своеобразной курганной культуры Юго-Восточного Приладожья - финской в своей основе, но в культурном и экономическом отношениях ориентированной на торгово-ремесленную Ладогу. Именно в это время на западной окраине региона оседают выходцы из Ладоги - скандинавские торговцы, посредники в пушной торговле. Предполагается, что принесенный ими обряд погребения в полусферических курганах, наряду со славянской традицией возведения опок, послужил источником заимствования аборигенами - вероятной "чуждью" летописных известий IX в. - нового погребального обряда (Назаренко 1982, 142-147).

В IX-X вв. отношения Руси с иноязычными федератами носили преимущественно политический и торгово-экономический характер. Меря, весь, чужь платили дань Руси, поставляли воинские контингенты для русских князей, но сохраняли свою традиционную этносоциальную структуру. Очевидно, эти отношения регулировались на договорных началах. Во всяком случае, под 882 г. летопись прямо упоминает об "установлении" при князе Олеге дани как словенам и кривичам, так и финской мере.

Механизм этнических контактов в этот период можно проиллюстрировать на примере археологических материалов Ростово-Суздальской земли (Леонтьев, Рябинин 1980). Здесь на собственно мерянских памятниках прослеживается начавшаяся аккумуляция - избирательное усвоение новых элементов материальной и духовной культуры. Происходящие при этом изменения отражаются прежде всего в широком распространении вещей, генетически не связанных с традиционными типами. Однако изменение облика материальной культуры шло не только за счет инноваций. В это время совершенствовались традиционные категории и типы вещей. Более того, в местной среде именно во второй половине X - начале XI в. получают наибольшее распространение этноопределяющие украшения. Сохраняется и традиционный грунтовый обряд погребения. Наблюдаемые преемственность и прогресс в развитии собственной культуры возможны только при су-

ществовании этносоциальной структуры. А это подразумевает наличие племенной общности с присущей ей определенной территорией, массивом поселений, характером верований, в конечном итоге — этническим самосознанием.

Новый этап в освоении финно-угорских земель начинается во второй половине X — XI в. В это время разворачивается массовая крестьянская колонизация ряда северных областей. Славяне несли с собой передовые навыки пашенного земледелия. Густая сеть сельских поселков покрывает плодородные ополья, занятые ранее мерянскими племенами. С конца X — начала XI в. резко увеличивается число поселений в землях белозерско-шекснинской веси. На Северо-Востоке Руси возникают города — центры феодализации края. В пределах племенной территории муромы — небольшого поволжско-финского образования, занимавшего участок среднего течения Оки, — быстро набирает силу древнерусский город Муром с тяготеющей к нему сельской округой; тогда же приходят в запустение близлежащие финские поселки, жители которых включаются в городскую аггломерацию Мурома.

В XI в. первые потоки крестьян направляются на порубежье новгородских владений, оседая к югу от Финского залива в земле води. Дорусские памятники этого образования, неассимилированная часть которого легла в основу формирования малой прибалтийско-финской народности водь (Ленинградская обл.), до последнего времени оставались неизвестными. Новый цикл исследований, приведший к открытию в этнографической зоне водского расселения каменных могильников первой половины I тыс. н.э. и чудских кладбищ эпохи развитого средневековья, позволил установить западнофинскую культурную подоснову этногенеза воды, что целиком согласуется с выводами лингвистов (Рябинин 1988, 116-135).

Археологические данные свидетельствуют о том, что во второй половине X—XI в. земледельческое освоение северных территорий велось преимущественно общинами, еще сохранявшими черты родового быта. На Северо-Востоке Руси оно выразилось в чересполосном размещении славянских и финских селений, между которыми завязывались многообраз-

ные, в том числе и брачные, связи. Поселения постепенно приобретают полиэтнический облик. Культура славяно-финских памятников указанного времени характеризуется не только механическим соединением разнородных по происхождению традиций, но и сложением на их основе качественно новых "областных" элементов. Краниологические материалы из курганных могильников свидетельствуют о значительном финском компоненте в древнерусском населении контактных зон (Алексеева 1973, 199-252). Наиболее активный процесс ассимиляции протекал в округе старых городских центров - форпостов феодализации и христианизации разноэтничного населения.

Первая половина XI в. явилась переломной в этнической истории летописных мери, веси и муромы. У мери в это время перестают существовать племенные укрепления, которые могут считаться центрами местных округ. Тогда же прекращается функционирование грунтовых могильников, заложенных в предшествующую эпоху. Несомненна связь таких кризисных явлений, прослеживаемых и на памятниках белозерской веси, с разрушением традиционной структуры группировок, утраты ими былой социально-экономической автономии. Выше упоминался устав князя Олега 882 г., закреплявший даннические отношения мери как целостной этнической единицы к Руси. Через полтора столетия Ярослав Мудрый, подавив в 1024 г. волнения на северо-востоке Руси (а в границы его княжения входили как земли летописной мери, так и веси), вновь "устави ту землю"; в новом уставе финские племена уже не упоминаются. Очевидно при Ярославе было юридически оформлено сложившееся к началу XI в. положение в землях чересполосного славяно-финно-угорского расселения, в котором уже не было места для самостоятельных племенных структур. Здесь и позднее еще длительное время сохранялись поселки мери и веси, но разрушение родоплеменных связей ускоряло вхождение остаточных местных групп в состав древнерусской народности.

С конца XI - начала XII в. характер земледельческого освоения северо-восточных районов Руси видоизменяется

— на новые участки продвигаются уже не общины, а более мелкие группы, чаще всего отдельные семьи. При медленном заселении окраинных и малоплодородных земель такая система способствовала длительному существованию контактирующих этносов и многовековому билингвизму. Примером этого может служить формирование славяно-финской "областной" курганной культуры в Костромском Поволжье XII-XIII вв., на периферии которой до позднего средневековья сохранялись не затронутые древнерусским влиянием "мерские" и "чудские" станы (Рябинин 1986).

По-видимому, не ранее конца XII в. редкое постоянное русское население появляется в левобережной части Севернодвинского бассейна. Судя по археологическим данным, обитавшая в этом районе летописная "заволочская чудь" не составляла этнического единства, распадаясь на ряд территориальных групп. В основе местной чуди прослеживается единый компонент, занимающий промежуточное положение между прибалтийско-финским и поволжско-финским массивами при большей близости к первому. Однако еще до появления славян значительные участки Заволочья были освоены собственно прибалтийско-финскими (весско-карельскими) коллективами, определившими сложную и мозаичную картину расселения в Подвинье. Ассимиляция чуди заволочской развернулась лишь в ходе массовой крестьянской колонизации Подвинья XIV-XV вв. и в основном завершилась к XVI-XVII вв.

Примерно к этому же времени относится земледельческое освоение выходами из Новгородской земли южных районов обитания приладожской чуди, к северу от которых сложилась зона многовекового билингвизма. Не ранее XIV в. русские крестьяне оседают в Мещерской стороне — крае сплошных лесов, озер и болот, заселенном редкими группами чудской мещеры. Памятники этого поволжско-финского образования изучены слабо, хотя и позволяют рассматривать его в качестве особого племени, сформировавшегося на пограничье дьяковской и городенской областей железного века. Следы славянского влияния на культуру мещеры

выявляются уже на материалах XII–XIII вв., однако обрусение ее относится к последующим столетиям.

Иной характер в целом носили отношения Новгорода с его иноязычными федератами, обитавшими на северо-западном порубежье и выступавшими в роли военных союзников Руси. Основными проводниками славянского влияния здесь являлись административные центры XIII–XV вв., служившие одновременно местами сосредоточения ремесла и торговли: Копорье в Водской земле, Орешек – в земле ижоры, Корельский городок – в Карельской земле. При их раскопках получены данные о наличии двухобщинного – славянского и финского – населения. Хотя в ходе крестьянской колонизации часть води и ижоры к XIV–XV вв. вошла в состав русского народа, эти средневековые группировки сохранили этническую самобытность, трансформировавшись впоследствии в соответствующие народности.

Алексеева Т.И. Этногенез восточных славян по данным антропологии. М. 1973.

Голубева Л.А. Весь, скандинавы и славяне в X–XI вв. // Финно-угры и славяне. Л. 1979.

Горюнова Е.И. Этническая история Волго-Окского междуречья // МИА. 1961. № 94.

Ключевский В.О. Курс русской истории // Сочинения в девяти томах. Том I. М. 1987.

Леонтьев А.Е., Рябинин Е.А. Этапы и формы ассимиляции летописной мери (постановка вопроса) // СА, 1980. № 2.

Назаренко В.А. Норманны и появление курганов в Приладожье // Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего средневековья. Л. 1982.

(ПВЛ) Повесть временных лет. Часть I. М. 1950.

Рябинин Е.А. Костромское Поволжье в эпоху средневековья. Л. 1986.

Рябинин Е.А. Финно-угорские племена Северной Руси (к проблеме археологического изучения) // Историко-археологическое изучение Древней Руси: Итоги и основные проблемы. Л. 1988.

Седов В.В. Этнический состав населения Новгородской земли // Финно-угры и славяне. Л. 1979.

ТОПОНИМЫ ЮЖНОВЕПСКОЙ ТЕРРИТОРИИ В НАРОДНОМ
И ОФИЦИАЛЬНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ

Вепсы — маленькая народность, говорящая на языке прибалтийско-финской языковой группы и живущая в Ленинградской и Вологодской областях и Карельской АССР. Раньше территория обитания вепсов была гораздо шире. "По-весть временных лет" считает центром веси, т.е. вепсов Белозеро (ПСРЛ I, 5). На востоке вепсы имели контакты с коми, на что указывают заимствования из вепсского в коми языке и топонимические данные. Южные группы вепсов жили среди мерян и кривичей, то есть, очевидно, в верховьях Волги, так как в Воскресенской летописи написано, что Владимир крестил "и Мерску и Кривическу Весь, рекше Белозерскую" (ПСРЛ УШ, 160). Поскольку, таким образом, обширная территория нынешнего Русского Севера была раньше заселена вепсами, изучение вепсского материала важно не только для прибалтийско-финской, но и для русской топонимики. Правда, присутствие прибалтийско-финского элемента в севернорусской топонимии уже давно не вызывает сомнения, но при этимологизации исходят часто из финских данных — примером могут служить классические работы Макса Фасмера (Vasmer 1971, 90-93, 776); иногда приводятся параллели из эстонского или карельского языков, но очень редко — из вепсского. Однако по фонетическому облику прибалтийско-финские языки все-таки различаются. Проиллюстрируем это различие на примере прибалтийско-финского топонима со значением 'ольховый ручей'. В финском и карельском языках это Leppäoja, в эстонском Leppoja, а в вепсском наряду с l'eroja и l'eroi. В свете этого Лепуй в Ленинградской области в русском употреблении мало отличается от вепсского варианта.

Мы поставили задачу проанализировать топонимические системы тех местностей, где вепсский язык еще жив. Ограничимся здесь только территорией одного диалекта — южно-вепсского. Ареал южных вепсов находится в Ленинградской

области в Бокситогорском, отчасти и в Тихвинском районах, в бывшем Тихвинском уезде Новгородской губернии. Анализу подлежат также те топонимы окружающих русских деревень, для которых известны и вепские соответствия.

Вепские деревни расположены на берегах озер и рек и размещаются группами – кустами. У вепсов бассейна Ояти и Прионежья промежутки между деревнями одного куста почти незаметны, у южных же вепсов иногда достигают километра. Все же расстояния эти незначительны, и жители других деревень используют главным образом только названия кустов, а не отдельных деревень. Более далекие деревни, ныне обрусевшие, знают по названию погоста, например, деревни Озерского погоста вепсами называются общим названием järved, русск. Озера. Последнее название местное, официально деревни имеют разные названия, а сам бывший Озерский погост находится в деревне Желобово. Отсюда видна и еще одна особенность топонимии Вепской земли. Деревни здесь обыкновенно имеют три названия: вепское, местное русское и официальное (традиционное) русское. На это явление у вепсов бассейна Ояти уже обращалось внимание (Малиновская 1930, 184–186). Приведем здесь несколько примеров:

вепск. šidjārv – русск. местное Щидрозеро – офиц. Прокушево; вепск. tutuk – русск. местное Тутолка – офиц. Сташково; вепск. sodjārv – русск. местное Сорвозеро – офиц. Сидорово; вепск. čäsī – русск. местное Чечуль – офиц. Иваново.

Прибавим, что русские соответствия имеют далеко не все вепские топонимы, а главным образом, кроме ойконимов, еще гидронимы, тогда как названия мелких объектов – очень редко. Больше их на западной границе ареала, особенно около куста деревень Радогощ (вепск. arakaht'), так как из четырех деревень, образующих куст, одна деревня – Родиониха (вепск. radipust) – русская, а сам куст находится на южной границе Вепской земли.

Охарактеризуем теперь кратко все три группы топонимов.

1. Вепские гидронимы как типичные названия прибалтийско-финских языков – двухкомпонентные сложные топонимы, причем названия озер всегда двухкомпонентны, напр.: *tutikjäfv*, *tagičjäfv*, *očajäfv*, тогда как названия рек имеют и двух-, и однокомпонентные варианты, напр.: *kõr* – *kõrjogi*, *ropal'* – *ropal'jogi*, *Yed* – *Yedjogi*. Это отражается и в ойконимах, исходящих из водного объекта, на берегу которого деревня находится, напр.: *maigäfv* – деревня и озеро, *tutukjogi* – река и *tutuk* – деревня. При этом от ойконимов на *-jäfv* при склонении употребляются внутренне-местные падежи, напр., инессив *jõscarves*, а от названий, исходящих из названий рек, – внешне-местные падежи, напр., аллатив *tutukale*.

2. Русские местные топонимы обыкновенно представляют собой перевод вепских, напр., *kivišt* – Каменник, *järvetag* – Заозерье, *koivišt* – Березняк, *maigäfv* – Боброзеро. В двухкомпонентных сложных топонимах (композициях) на -озеро последний гласный в первом компоненте выпадает, напр., *nägjärv* – Шукозеро. То же явление в названиях-гибридах, где первый компонент топонима не переведен, напр., *ралаjäfv* – Палозеро, *лараjäfv* – Лапозеро. Такие полукальки возникают часто тогда, когда первый компонент топонима не этимологизируется из современного вепского языка или южновепского диалекта, напр. *mätjäfv* – Мялтозеро, *čikjäfv* – Чикозеро, *loitjäfv* – Лойтозеро. В ряде ойконимов, исходящих из названий озер, первый компонент сохранил старинную форму, в вепском варианте уже изменившуюся, напр., *sodjäfv* – Сорвозеро, *šidjäfv* – Шидрозеро. Словообразование русских топонимов преимущественно суффиксальное. По В.А.Никонову, из русских названий населенных мест суффиксальных более 90% (Никонов 1965, 68). Но среди русских местных названий населенных пунктов суффиксальных около 40%, в том числе среди названий кустов деревень – 10%. Суффиксальные имена в местном русском употреблении в своем большинстве входят в словосочетания, напр., *парijäfv* – Поповское озеро, *kivijäfv* – Каменное озеро, *kimasso* –

Токовое болото, kurgõ'jäfiv - Кургольское озеро. Большая часть ойконимов двух типов: либо двухкомпонентные со вторым компонентом -озеро, напр., Евчозеро - jõsafiv, либо словосочетания, где второе слово Гора, напр., Максимова Гора - maksimägi, Ильина Гора - mägi, Степанова Гора - mägi. Среди русских местных названий есть и такие, соответствия которых в вепском совсем другого происхождения, ср. Петрово - buâak, Сузем - íedo. Эти ойконимы, видимо, главным образом позднего происхождения. Среди них нет названий кустов деревень. В писцовой книге 1496 г. или даже в материалах генерального межевания конца XVIII века эти деревни не отмечены, и очевидно, возникли позже.

Среди вепсов русские названия населенных пунктов вообще употребляются мало. Так, в кусте деревень sodjäfiv четыре деревни. С вепскими названиями двух из них все ясно: sodjäfiv - это Сидорово, раньше Сорвозеро, juâk - Юшково. Что же касается деревень mägi и kond, то тут дело обстоит по-другому. В письменных источниках mägi - Степанова Гора, а kond - Лаврово или Терпилово, данные же о местном употреблении названий противоречивы. Одни говорят, что mägi - Степанова Гора, а kond - Лаврово, другие - что mägi - Лаврово, а kond - Терпилово, третьи - что mägi раньше была Степанова Гора, а теперь Лаврово, а русского названия деревни kond, как и названия Терпилово не знают вообще. Практически русские названия деревень куста вепсам не нужны.

3. Третья сфера употребления - русские официальные названия или, точнее, вся письменная традиция. Кроме писцовых книг, списков населенных мест и других подобных источников сюда относятся разного рода карты и планы, а также краеведческая литература. В них учитывается, с одной стороны, местная устная традиция, с другой стороны, заимствуются и данные предшественников; так повторяются ошибки в нескольких источниках.

Вепсам вся эта письменная традиция мало известна. Даже довольно старые названия деревень в их сознание во-

шли только в последнее время, с распространением грамотности и образования среди вепсов. Притом жители самой деревни уже пользуются в большинстве случаев официальной формой, а жители отдаленных деревень местными формами. Сами вепсы убеждены, что названия деревень изменили во время коллективизации, в действительности "новые" имена давно бытовали в письменных источниках (подробнее см.: Йоалайд 1989, 120). Но некоторые изменения и поправки внесены, действительно, недавно. Так, деревня *bor*, которая на карте 1932 г. обозначена еще как Бор (*Anuksen kartta*, 0-36-VI), в послевоенный период уже называется Красный Бор. Совсем недавняя (притом бессмысленная) поправка коснулась деревни *arskaht'*, русское название которой изменилось с формы Радогоща на Радогощь.

Записывание вепских топонимов всегда было связано с трудностями для писца, родным языком которого был русский. Современные планы землепользования и географические карты ясно показывают, что передача микротопонимов, еще не имеющих традиции в русском употреблении, вызывает затруднения. Н.Н.Мамонтова обращает внимание на то обстоятельство, что русским писцам было нелегко записать карельские и вепские топонимы, и поэтому в писцовых книгах XV-XVI вв. часто встречаются топонимы, указывающие только местонахождение деревни (Мамонтова 1988₂, 60). Добавим некоторые примеры и из южновепского ареала: "дер. на Туток-озерке", "дер. на Шидро-озерке" (ИКОП, 23, 27), "селцо на Лидь озерь", "починок на Лъль ручью" (ПК, 83, 84). Иногда трудности возникают из-за разницы топонимических систем в обоих языках. Вепские *äigoil'tenitüd* и *meñicantaga* выглядят как типичные топонимы, но в переводе предстают соответственно как На Шигольской и За Мельницей. Когда топонимы прозрачны по этимологии, в их записи делается меньше ошибок. В общеупотребительных географических терминах ошибок меньше, из них *jäfv* 'озеро' и *jogi* 'река' кажутся почти общепонятными, но другие термины часто искажаются. Например, пустынь на ручье *ġeroja* ('ольховый ручей') - Депруцкая или Ле-

прудская. Особенно пестрая картина возникает, когда топоним неясен и современным носителям вепсского языка. Так, *êšânǵäfv* передано то как Чангозеро, то как оз. Шанго. Пестроту передачи вепсских и карельских названий иллюстрируют примерами и И.И.Муллонен (1988₁, 49; 1988₂, 29-30) и Н.Н.Мамонтова (1988₁, 43). Некоторые ошибки стали традиционными, иногда повлияв и на вепсский топоним. Река Лидь, текущая через южновепскую территорию, носит у большинства вепсов название *lid*, только в некоторых вариантах записано *led*, но озеро, через которое река течет (Лидь или Лидское озеро) по-вепски называется *ledjäfv*. Берега реки изобилуют топонимами с основой *led-*, среди них и *ledi* - сальцо Ледь. В работах А.Колмогорова и русские соответствия названий реки и озера зафиксированы как Ледь, Ледское (озеро) (Колмогоров 1906, 26-28, 30, 96-97; Колмогоров 1908, 3-4, 11-12, 18-19, 26-30, 32-33). Название хорошо этимологизируется из вепсского языка - *led* 'песок', так что мы имеем дело с "Песочным озером" и "Песочной рекой". Ошибка в передаче появилась, очевидно, уже полтысячи лет тому назад. Старейший сохранившийся письменный источник, который содержит и топонимы территории нынешнего южновепского диалекта, - писцовая книга писца Юрия Сабурова 1496 года. Там найдем деревни "на Лиде" и "на Лид-озере" (ПКОП, 26, 49). Притом название озера чаще встречается еще в более искаженном виде "на Лицде" или даже "на Ливдове" (ПКОП, 49-50). Из того же источника видно, что картина заселенности в то время была в общем близка современной. Деревни обозначены по своему местонахождению (откуда и современные местные русские названия), представлены все главные нынешние кусты деревень. Зато списки населенных мест конца XIX - начала XX в. отличаются тем, что облик топонимической системы там чисто русский, трудно найти прибалтийско-финский элемент. Иногда названия в этих источниках совсем незнакомы вепсам. Так, *tanaz*, русское местное Барское Поле, носит название усадьбы Абатурово (СНМ, 29; МСНГ, 32), как уже в мате-

риалах генерального межевания с конца XVIII века (МОЗУ, 793) и на одновременной карте Сухтелена и Ошпермана (1801-1802, XXXVIII).

На основе вышесказанного можно сделать некоторые рекомендации для изучения севернорусской топонимии:

1. При этимологизации топонима из прибалтийско-финских языков нужно исходить из языка, носители которого (вероятнее всего) жили на данной территории.

2. По возможности использовать данные полевых материалов, базирующиеся на местной русской традиции.

3. Более достоверны старые источники, так как русская традиция топонимов тогда была менее развита.

4. Русский облик ойконимов в письменных источниках далеко не однозначно указывает на русское население деревни.

5. Одним из критериев того, что на данной территории во время создания источника жили носители некоего прибалтийско-финского языка, служит бытование примитивных топонимов, указывающих только на местонахождение деревни.

Йоалайд М. Стратиграфия южновепских топонимов. - Вопросы финно-угорской ономастики. Ижевск 1989, 118-129.

Колмогоров А. Поездка по Чухарии (Предварительное сообщение). - Землеведение 1905, кн. III-IV. М. 1906, 93-114.

Колмогоров А. Озера Тихвинского уезда. - Землеведение 1907, кн. III-IV. М. 1908, 1-32.

Малиновская Э.П. Из материалов по этнографии вепсов. - Западно-финский сборник: Труды Комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран 16. Ленинград 1930, 163-200.

Мамонтова Н.Н. К вопросу о традициях в топонимии и о традиционных топонимах (на материале топонимии Карелии). - Прибалтийско-финское языкознание: Вопросы лексикологии и грамматики. Петрозаводск 1988₁, 37-49.

Мамонтова Н.Н. Пути усвоения прибалтийско-финской ойконимии Карелии русским языком. - Symposium: Turku 30.8. - 2.9.1988. Turku 1988₂, 60-61.

(МОЗУ) Материалы для оценки земельных угодий Новгородской губернии: Тихвинский уезд. Выпуск I: Земельный инвентарь. Новгород 1912.

(МСНГ) Материалы по статистике Новгородской губернии, собранные статистическим отделением Новгородской губернской земской управы, УШ. Списки населенных мест и сведения о селениях Новгородской губернии: Тихвинский уезд. Новгород 1885.

Муллонен И.И. Гидронимия бассейна реки Ояти. Петрозаводск 1988₁.

Муллонен И.И. Русская адаптация вепсской гидронимии бассейна р. Ояти (Ленинградская обл.). – Проблемы русско-финноугорского двуязычия и межъязыковых контактов. Йошкар-Ола 1988₂, 25–31.

Никонов В.А. Введение в топонимику. Москва 1965.

(ПК) Писцовая книга: Обонежские пятинны Нагорные половины, письма дозору Ондreja Васильевича Плещеева и подъячего Семейки Кузмина лета 7091 году. – Временник Московского общества истории и древностей российских, кн. VI. Москва 1850, 58–126.

(ПКОП) Писцовые книги Обонежской пятинны 1496 и 1563 гг. – Материалы по истории народов СССР, вып. 1. Материалы по истории Карельской АССР. Ленинград 1930.

(ПСРЛ) Полное собрание русских летописей. Т. I. Москва 1962. Т. УШ. Москва 1859.

(СНМ) Список населенных мест Новгородской губернии. Вып. УП. Тихвинский уезд. Новгород 1911.

Сухтелен фон, Опшерман. Подробная карта Российской Империи и близлежащих заграничных владений. Ч. УП, л. XXXVIII. Санкт-Петербург 1801–1802.

Aunuksen kartta. Helsinki 1941, lehdet O-36-V-VI.

(Офсет карты, составленной сектором Северо-Западного Аэрогеодезического Треста Главного геодезического управления в 1932 г.).

Vasmer, M. Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde. Bd. I-II. Berlin 1971.

ДОРУССКАЯ СУБСТРАТНАЯ ТОПОНИМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ И ЕЕ МАРИЙСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Общеизвестно, что древнейшие топонимы, сохранившиеся на территории ряда областей Центральной России, образовались в до-русский период ее истории. Сравнительно-исторический анализ позволяет установить, что эти топонимические образования представляют особый волго-окский тип /Б.А.Серебrenников, Е.М.Поспелов/, характерный в ряде случаев и для Русского Севера, но в основном не типичный для камско-зауральского региона. Поэтому целесообразно рассматривать их как финно-угорское наследие финно-волжского характера.

Обращает на себя внимание ряд параллелей в топонимии Центральной России и территории распространения марийского языка, ср.:

В о л о г о д с к а я о б л.: Нурма в Грязевецком у. /Иванский 1890, 98/ - ряд речек и ойконимов Нурма, в т.ч. в Марийской АССР и в Кировской обл.

Я р о с л а в с к а я о б л.: Кичма в Ростовском регионе - ряд дд. Кичма в Марийской АССР и в Кировской обл.; р. Элноть в Любимском кусте - пр. Волги Элнет в Марийской АССР.

Н о в г о р о д с к а я о б л.: д. Регижево Новгородского региона /1498/ - мар. ойконим Регеж в Марийской АССР.

П с к о в с к а я о б л.: д. Себеж в Псковском у. /Василев 1896, 284/ - д. Себе-Усад, официальное название марийской д. Волаксола /ср. рус. диал. усада "усадьба", рязанск./; д. Пукшево в Великолуцком у. /Там же, 210/ - мар. д. Пуял /ср. мар. ял "деревня"/.

И в а н о в с к а я о б л.: д. Кужлево - ряд дд. Кужмара в Марийской АССР /с топоформантом -мара/; д. Пезлово - мар. д. Пезмучаш /ср. мар. мучаш "конец, край"/.

В л а д и м и р с к а я о б л.: - Нушпола /Нушпала/ в Александровском у. /Материалы... 1907, 79/, микротопоним - мар. д. Нужьял /ял "деревня"/.

П е н з е н с к а я о б л.: р. Икса - ряд гидронимов Икса /Икша/ в Марийской АССР; р. Шукша в Пензенском р-не - д. Шукшиер

в Марийской АССР /ср. мар. ер "озеро"/.

Р я з а н с к а я о б л.: р. Курша - мар. дд. Куршамбал, Куршегер /ср. мар. умбал "верх, поверхность", енгер "река"/.

К о с т р о м с к а я о б л.: р. Шокша в Галичском у. /Список... 1908, 76/ - мар. д. Шокшем /с топоформантом -ем/; р. Немда /Там же, 78/ - ряд топонимов Немда, Немдеж в Марийской АССР и в Кировской обл.; р. Ноля /Там же, 79, 88/ - ряд рр. Ноля в Кировской обл. и Марийской АССР.

М о р д о в с к а я А С С Р: д. Шокша в Теньгушевском р-не - мар. д. Шокшем /см. выше/; с. Нерлей в Большеберезниковском р-не /ср. морд. лей, ляй "река"/ - р. Нердашка в Марийской АССР /с топоформантом -да, в русском морфологическом оформлении/; д. Шуварляй в Zubovo-Полянском р-не /ср. морд. шувар "песок"/ - мар. д. Шуарсола /ср. мар. сола "деревня"/, пр. Пижмы Шувана в Яранском р-не Кировской обл.

Образования с пермским компонентом шор "река": Шора в Нерехтинском у. Костромской губ. /Список... 1908, 219/ и Шорсола /мар. сола "деревня"/, Шора, ойконимы в Марийской АССР - следует рассматривать как волжско-пермское наследие, относящееся к концу 1 тыс. до н.э., когда ананьинские /прапермские/ племена занимали левобережье Марийского Поволжья, а затем были оттеснены древне-марийскими племенными объединениями.

Рассматривая гидронимы Икша /Икса/ в бассейне Онеги, в Подмосковье и в Марийской АССР, Е.М.Поспелов /1984, 13-14/ совершенно правильно отмечает, что исходный речной термин из язчика до-русского населения лесной зоны Европейской части СССР сохранился в марийском языке в виде апеллятива икса /икша/ "ручей" /-кса - словообразовательный суффикс/. Однако при этом он делает далеко не соответствующий действительности вывод: "Характерно, что р. Икса встречается дважды восточнее нашей /Московской. - Ф.Г./ области: в бассейне Оби, ниже Новосибирска, и на Урале, в бассейне Тавды. Эти названия хорошо показывают путь, по которому икса/икша перемещалась с юга Сибири в Подмосковье и далее на Север". Автор не учитывает следующие два обстоятельства. Во-первых, апеллятив икса /икша/ "ручей" образовался в финно-волжское время, т.к. сам суффикс -кса /-ксä/ сложился после распада финно-угорского праязыка. Во-вторых, скорее всего, мар. икса был занесен в Сибирь марийскими колонистами /в начале XX в. и в период коллек-

тивизации/.

Безусловно, славяне – более поздние пришельцы в рассматриваемых регионах, которые первоначально были населены балтоязычными племенами. Поэтому в дорусской субстратной топонимии, наряду с финно-угорскими, выделяются и балтийские гидронимические образования. Ср.: р. Истра в Подмосковье и Иштра /<*Истра/: д. Иштра-мари в Марийской АССР /мари "мариец"/. Вряд ли правомерно подобные гидронимы рассматривать как древнеиндоевропейское наследие /и.-е. *sr- "река"/. Балтийский гидронимический субстрат на территории как Северо-Запада, так и Волго-Окского междуречья, ждет своего исследования.

Этимологический анализ дорусской субстратной топонимии показывает, что финно-угорский субстрат оказал значительное влияние на формирование географических названий Центральной России и Русского Севера.

Василев И.И. Псковская губерния. Псков, 1896.

Иваницкий И.А. Материалы по этнографии Вологодской губернии. – Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, т. ХIХ, 1890.

Материалы для оценки земель Владимирской губернии. Владимир на Клязьме, 1907, т. П.

Поспелов Е.М. Топонимика Московской области. М., 1984.

Список названий мест Костромской губернии. Кострома, 1908.

Б.Д.Бондалетов (Пенза)

ОТНОСИТЕЛЬНО ЯЗЫКОВОГО СТАТУСА ОФЕНСКОГО И ЕМУ ПОДОБНЫХ ЯЗЫКОВ

Более 200 лет офенский язык (язык офеней-коробейников) был загадочным явлением и все еще остается таковым для части исследователей. Одни считали его смешанным, греческо-русским наречием (акад. П.С.Паллас), другим он казался греческо-афинским (см. название ранней статьи И.И.Срезневского "Афинский (!) язык в России"), третьи возводили его к скифскому (Анем. Кайдалов), четвертые видели в нем или в его разновидностях остаток языка финно-угорского племени мери (М.Я. Диев, Д.Корсаков и др.); казался он и остатком языка буртасов, гелонов и ряда древних народов. Наконец, принимали его за обычное местное наречие (Ф.Глинка, И.И.Срезневский, Д.В.Наумов), за искусственный, деланный, "отверницкий" язык (А.Мейер, А.А.Успенский, В.И.Даль, И.А.Голышев, Н.Н.Виноградов и др.). Для многих авторов, в том числе и хорошо знавших офенский язык, он казался языком "неизвестных слов", воспринимался как "смешанный", восходящий, видимо, к какому-то племенному славянскому (М.Макаров, Д.В.Наумов и др.) или, возможно, неславянскому наречию. Мы считаем его одной из форм существования языка - социальным диалектом и относим к категории условных языков, или арго (Бондалетов 1964, 1974, 1980, 1987).

В свете обсуждаемой балто-славянской и шире - урало-индоевропейской проблематики офенский сюжет не является центральным, но тем не менее он актуален, так как чаще всего офенский возводят либо к одному из индоевропейских, либо к одному из финно-угорских языков. И действительно, в нем имеется немало слов-заимствований /Бондалетов 1972, 1982 и др. работы об индоевропейских, финно-угорских и тюркских заимствованиях/. Интересен этот феномен и в общелингвистическом плане: типологически сходные арго встречаются во многих языках индоевропейской, уральской, тюркской и ряда других языковых семей Европы, Азии, Африки, Америки.

Первые известия о русской тайной речи находим у голландского путешественника И.Массы - сообщение об "отвернице", которой пользуются на Дону и в Поволжье повстанцы И.И.Болотникова (начало ХУП в.). "Отверница" - это язык, который казаки употребляют "сверх" основного. Второе известие, уже с фактическим материалом (60 слов, фразы) - рукопись А.Мейера 1786 г. с описанием "отверницкой", или

"отвращенной" речи мещан и мастеровых людей г. Кричева /ныне Могилевской обл.). Первая публикация об офенском, или "суздальском" /г. Суздаль был центром офенского края/, наречии содержалась в "Сравнительных словарях всех языков и наречий" (1787 г./ акад. П.С.Палласа. Составитель поместил суздальское наречие (в рубрике № 12: "по-суздальски") в один ряд с другими, полными языками - русским, немецким, английским (здесь приведено 115 слов-аргоизмов: стод - бог, хрутин - отец, масья - мать и др. и около 170 чисто русских слов: берег, борона, пашня, поп и др., назвав это наречие "смешанным", состоящим "частью из произвольных слов, частью из греческих в российские обращенные" (Паллас 1787, 3) и дав этому свое пояснение: "Торги, кои от Суздаля производятся даже до Греции, могут изменению сему быть причиной" (Паллас 1787, 3).

В 20-е годы XIX в. офенский материал публикуется в "Трудах общества любителей российской словесности" - в основном из губерний к северу от Москвы. В 1839 г. в "Отечественных записках" появляется статья молодого слависта И.И.Срезнева /Срезневского/ "Афинский язык в России" (предмет описания связывался с Афинами, а не со словом финский). В 1848-1849 гг. в знаменитых "Мыслях об истории русского языка" это наречие Срезневским названо местным, костромским и владимирским, а в курсе "Истории русского языка" (записанном Чернышевским) дана уже развернутая аргументация в пользу этой концепции. Остановимся на ней подробнее. "Таким образом, мне кажется несомненным, - писал акад. И.И.Срезневский в 1850 г., - что офенский язык - местное костромское и владимирское наречие, обыкновенный простонародный язык, очень много отличный по составу от остальных русских наречий. Это с внешней стороны. А по внутренней стороне - это произведение природы, сам собой образовавшийся, как все другие, а не выдуманный язык" (Срезневский 1959, 97). Приведенным высказыванием ученый подводил итог своим занятиям офенским языком, которые были хотя и не постоянными, но все же интенсивными. Кроме упомянутых печатных работ по офенскому наречию, до нас дошли его рукописные труды. Они хранятся в Архиве АН СССР - фонд 216, опись 4. Так, здесь имеются: "Словарь Афинского или Афенского языка" под № 210, "Список слов офенского наречия" (30 листов, 1840 г., № 201), "Русско-офенский словарь", рукопись 30 листов, № 211, "Об афенском наречии", рукопись, 1853 г., № 199.

С кем полемизировал ученый? И.И.Срезневский полемизировал с теми авторами, которые, публикуя "непонятные" слова офенского и других наречий, называли офенский язык искусственным, деланным, искаженным и, при такой оценке, не заслуживающим серьезного внимания. Срезневский же был убежден: "Офенское наречие имеет большую важность; нужно желать, чтобы кто-нибудь из наших филологов сделал его предметом своего серьезного изучения" (Срезневский 1959, 128).

И.И.Срезневский хорошо знал "суздальский" материал П.С.Палласа, знал публикации "Трудов общества любителей российской словесности" 1820 и 1828 гг., материалы М.Н.Макарова, публиковавшиеся с начала 20-х годов и затем обобщенные автором в "Опыте русского простонародного словотолковника" (1846-1848 гг./до буквы Н). И.И.Срезневский романтически был увлечен языком народа, дорожил каждым его словом и старался сохранить всё, что было в живой речи. Всё, что есть в народе, ему казалось естественным и, разумеется, заслуживающим самого пристального внимания. На восприятие языка офеней как произведения подлинно народного повлиял фактический материал Словаря Палласа, материалы "Трудов общества любителей российской словесности, особенно 1820 г., где в некоторых списках слов-офенизмов ("отличных", "скрытых", "слов неизвестного языка") были и местные слова (диалектизмы) и, наоборот, офенизмы попадались в списке обычных местных слов. Так, например, в перечне простонародных слов Переяславльской округи Владимирской губ. в одном ряду с диалектизмами типа певун "петух", стая "хлев", цапальник "сковородник" встречались: биряха "деньга", жирмаха "гривна", косуха "тысяча", марка "полтина" В списке слов из Вязниковской округи Владимирской губ. в массе офенских слов: волоха "рубаха", витерить "писать", графен "дождь" и др. встречались явные диалектизмы: некали "некогда", погуторим "посоветуемся", щерба "рыбья уха" и др. С концепцией народности, безыскусственности офенского наречия во многом согласовывался и фактический материал "Опыта русского простонародного словотолковника" М.Макарова, в котором наряду с областными словами приводились офенские - с пометой "офенское" /бирять "дать", ботва "ты", бурман "тулуп" и др./ и без нее: валакша "вода", витерить "писать", декан "десять", збрун "собака" и др. - несколько сот слов, снабженных различными областными пометами.

Знал И.И. Срезневский и о "кяхтинском наречии" /г. Кяхта близ китайской границы/, скорее всего по публикации С.И. Черепанова. Был начитан он и в европейской литературе по арго; на западе арго обычно связывалось с преступным миром - ворами, мошенниками, разбойниками - и считалось языком искусственным. Срезневский ведет полемику в основном с теми, кто находил в этом языке лишь конспиративную функцию, а сам язык "составленным" для тайных переговоров. "Офенское наречие, - писал он, - считается у нас языком, составленным нарочно для того, чтобы можно скрывать им свои мысли и намерения, языком разбойников, обманщиков и т.д. Едва ли это мнение совершенно справедливо" (Срезневский 1959, 64). Достоин восхищения совершенно правильное разграничение Срезневым языка торговцев (офеней, валягов), плотников, штукатуров и других мастеровых от языка воровского (argot); он полагает, что "мошенники и разбойники не вели им (офенским языком - В.Б.) никогда, сколько известно, своих тайных разговоров, а употребляли для него ломаный татарский язык" (Срезневский 1959, 64).

Решающую роль в отнесении офенского языка к "природному" сыграли, видимо, два признака этого "наречия": 1) открытость офенского языка, несекретный характер его функционирования: "наши офени готовы учить своему языку кого угодно... мне самому, например, объясняли его с большой готовностью, когда я попросил об этом" (Срезневский 1959, 96), 2) его лексический состав, в своей основной массе "не отличающийся" от других русских и шире - славянских и индоевропейских слов (корней); слов, переделанных из русских корней, по его мнению, немного, большинство - "самостоятельные корни" (Срезневский 1959, 128). Известный этимолог Потт, которому Срезневский показал свой материал, сказал, что "все эти слова могли быть в русском языке, как и в других индоевропейских языках, потому что корни их индоевропейские; некоторые из них и теперь существуют в индоевропейских языках, другие потеряны, но могли существовать, потому что все носят на себе дух и характер индоевропейских корней" (Срезневский 1959, 97).

Итак, офенский язык для И.И. Срезневского - вполне естественный, природный язык, обычное местное наречие, ничего общего не имеющее не только с воровскими жаргонами /типа француз-

ского арга, немецкого *Rotwelsch* /, но и с такими образованиями, как кяхтинское наречие (мы бы отнесли его к языку-пиджину). Будучи обыкновенным русским наречием, офенское наречие хранит в себе память старины – славянской и, возможно, индоевропейской и поэтому заслуживает быть предметом научного исследования.

В 50 и 60-е годы XIX столетия в кругах лингвистов-лексикологов складывается мнение об офенском языке как искусственном, что находит практическое преломление в диалектологических трудах той поры – прежде всего в "Опыте областного великорусского словаря" (1852 г.) и в "Дополнении к Опыту" (1858 г.). В эти сборники областных слов уже сознательно не включались многие офенские слова из словаря М. Макарова, а также из прежних и новых публикаций офенских слов (из работ И. М. Снегирева, К. Тихомирова, А. И. Пискарева и др.). Редактором этих словарей был акад. А. Х. Востоков. Вполне определенным и четким было мнение В. И. Даля, который считал офенский язык и его многочисленные местные изводы "искусственным", "придуманым". У Даля был обширный материал по офенскому языку (им и Лури был составлен Офенско-русский словарь в 1854 г.) и он мог поставить плотный заслон для офенских слов в работе над своим "Толковым словарем".

Между тем, приток офенских материалов в науку возрастал. В 1864 г. поступают сведения о "кантожном" языке калужских прасолов (Материалы 1864), в 1868 г. – о языке симбирских швецов (Материалы 1868). В 70-е годы продолжается публикация офенских материалов с пониманием их особого положения по сравнению с лексикой народных говоров. Так, П. Мартынов в "Тульских губернских ведомостях" за 1870 г. печатает статью "Офенские прасолы и их особый разговорный язык", И. А. Гольшев в 1874 г. публикует большой словарь "искусственного языка" офеней Владимирской губернии. Казалось бы, мнение об офенском и ему подобных прасольских, швецких и т. д. языках должно стать всеобщим и однозначным. Но этого не случилось. Более того, идет развитие идеи о древности офенского и ему подобных языков, о поиске предков офеней и прасолов среди древнейших неславянских (скифских) племен и даже среди неиндоевропейских, в частности среди финно-угорских, народов.

П. П. Свиньин еще в 1839 г. о языке галичан Костромской губ. писал: "Язык сей совершенно отличается от известных в России" (Свиньин, 174) и был склонен отнести его к остаткам исчезнув-

шего языка мери. Эту идею в 60-70-е годы развивали М. Диев (Диев), Д. Корсаков (Корсаков) и др. Иной была теория Анемподиста Кайдалова, изложенная в специальных брошюрах "О предках прасолов и офеней" (Кайдалов 1876) и "О родстве славян, шалавов и сколотов по языку" (Кайдалов 1880). В суждениях об офенском языке он опирался в основном на три его "говора" - собственно офенский, распространенный в Владимирской губ., прасольский, зафиксированный в Калужской и "отчасти" в Тульской губ., и язык симбирских швцов. В центре внимания исследователя - язык офеней, их предки и язык прасолов и тоже их предки. Предком офенского языка исследователь считает скифский язык, полагая, что "предки офеней уже за 2300 с лишним лет до настоящего времени не говорили вполне по-скифски, а впоследствии офенский язык подпал могущественному влиянию русского языка" (Кайдалов 1876, 2). Прежняя история офеней и прасолов ему представлялась так: предками офеней были буртасы, а предками прасолов - голяды, которые сами восходят к гелонам. "Древние предки прасолов и офеней обитали на реке Дон" (Кайдалов 1876, 35). В своих работах автор приводит около 50 офенских слов, этимологизируя некоторые из них. Офенский (скифский, буртасский) язык ставится им в германо-арийский (индоевропейский) контекст. Аргументация Кайдалова слаба, а вся концепция антиисторична.

В конце XIX в. и в первой половине XX в. мнение об офенском языке и его территориальных изводах было близко к мнению В.И. Даля. Однако вопрос о происхождении офеней продолжал волновать ученых. В 1908 г. С.Н. Введенский приходит к выводу, что "первоначальные офени скорее всего были греки" (Введенский, 5). В советские годы мысль о племенном истоке офенского языка проводилась Д.В. Наумовым. Он сам владел офенским языком "с детства" /в с. Верхозим Шемышейского района Пензенской обл./ и считал его древним племенным языком (Наумов).

Предпринятое нами с 50-х годов изучение офенского языка и сотни ему подобных "языков", имевших распространение среди русского, украинского и белорусского населения, сопоставление русских условных языков (арго) с арго других индоевропейских, тюркских и финно-угорских языков ("Лексика", 6-40) показало, что перед нами один из типов социального диалекта, в котором заимствование слов из других языков есть не что иное, как один из приемов создания слов, непонятных для непосвященных, поскольку

основной функцией условного арго была функция конспиративная, эзотерическая. Именно этим объясняется вводившее в заблуждение обилие слов из разных языков индоевропейской, финно-угорской, тюркской и, возможно, других семей.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Бондалетов 1982 - Бондалетов В.Д. Греческие заимствования в русских, украинских, белорусских и польских арго / К проблеме генезиса и контактирования социальных диалектов славянских языков // Этимология - 1980. - М.: Наука, 1982.
- Бондалетов 1972 - Бондалетов В.Д. Греческие элементы в условных языках русских торговцев и ремесленников // Этимологические исследования по русскому языку. - Изд-во ИГУ, 1972. - Вып. 7.
- Бондалетов 1964 - Бондалетов В.Д. К изучению социальных диалектов русского языка: Условные языки ремесленников и торговцев // Язык и общество: тезисы научных сообщений. - Саратов, 1964.
- Бондалетов 1987 - Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. - М.: Просвещение, 1987.
- Бондалетов 1974 - Бондалетов В.Д. Условные языки русских ремесленников и торговцев. Вып. 1. Условные языки как особый тип социальных диалектов. - Рязань, 1974.
- Бондалетов 1980 - Бондалетов В.Д. Условные языки русских ремесленников и торговцев. Словопроизводство. - Рязань, 1980.
- Введенский - Введенский С.Н. Откуда произошло имя офеней. - Владимир, 1908.
- Диев - Диев М. Какой народ населял в древние времена Костромскую сторону и что известно об этом народе? // Чтения в обществе ист. и древностей российских. 1864. - Кн. 4.
- Кайдалов 1876 - Кайдалов Анем. О предках прасолов и офеней. - СПб., 1876.
- Кайдалов 1880 - Кайдалов Анем. О родстве славян, шалавов и сколотов по языку. - СПб., 1880.
- Корсаков - Корсаков Д. Меря и Ростовское княжество. - Казань, 1872.
- "Лексика" - Лексика русского языка и ее изучение. Межвузовский сборник научных трудов. 60-летию профессора В.Д. Бондалетова посвящается. - Рязань, 1988.
- Материалы 1864 - Материалы для географии и статистики России. Калужская губерния. - СПб., 1864. - Ч. 2.
- Материалы 1868. - Материалы для географии и статистики России. Симбирская губерния. - СПб., 1868. - Т. 2.
- Наумов - Наумов Д.В. Офенский древний племенной язык. - Саратов, 1961. Рукопись. Институт русского языка АН СССР. - М.
- Паллас 1787 - Паллас П. Сравнительные словари всех языков и наречий. - СПб., 1787.
- Срезневский 1959 - Срезневский И.И. Мысли об истории русского языка. - М., 1959.

СТИЛИСТИКА ДРЕВНИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ КОМИ ЯЗЫКА

1. В современном коми языке сохранились древние заимствования из иранских, болгарского, древнерусского, германских и других языков (Лыткин 1979, 6), которые проникли в обиходную речь коми вместе с хозяйственными и культурными реалиями. Они зафиксированы как в ранних памятниках письменности, так и в произведениях устного поэтического творчества: кипарисный крест 'кипарисовый крест', неמידз майтог 'немецкое мыло', т.е. мыло высокого качества, доставленное из дальних краев; сетны блахеслэвенне 'благословить', досл. 'дать благословение' (КНЭ 210).

2. Германские заимствования проникли в коми язык как через севернорусские говоры, так и благодаря контактам с карело-вепсами. Напр., слово бекар в с. вым. лл. нв. сс. 'чашка столовая' возводится к древнерусскому оригиналу бѣкар, зафиксированному в памятниках письменности XIV в., в русский язык это слово попало из древненорвежского bikarr или из средненижнегерманского beker 'бокал, кубок' (КЭСК 38).

Напротив, слово смахта иж. 'толковый; мастер на что-либо' (ИД, 213) можно рассматривать как заимствование из карельского mahta- или вепского mahtta 'мочь, уметь' < герм., ср. нем. Macht 'сила' (SKES 326). Приставка с- в данном случае является протезой, которая обычно появляется перед заимствованными корнями. Ср. струба в с. вым. нв. печ. уд. 'наземная часть колодца, выдолбленная из дерева', рус. труба; сполный лл., сполнйвей уд. 'полный', рус. полный. Это заимствование оформлено по деривационной модели: имя существительное + продуктивный адъективный суффикс -а. Корень данного заимствования на коми почве не этимологизируется, хотя в сознании носителя заимствующего языка этому слову дедуктивно придается семантика 'сообразительность, способность', напр.: смахтыс тырме иж. 'сообразительный', досл. 'хва-

тает навыков, умений'. Полностью слово смахта воспринимается как имя прилагательное со стилистически выделенным значением, в котором подчеркивается уважительное отношение к носителю этого качества. Стилистически нейтральным соответствием ему является кужысь 'умелый', артман киа 'имеющий умелые руки".

3. В стилях народно-поэтической и обиходно-бытовой речи имеются слова, где деривационные морфемы русских имен прилагательных сочетаются с коми корневыми морфемами, чтоб подчеркнуть большую экспрессию: Виз дорас бд ми виччисим тэнб кбртбвбй кбрт поезднас локтбмтб (ЮП, 31) 'мы ожидали у Княж-Погоста твоего возвращения на железном (досл. железнейшем из железных) поезде'. Коми прилагательное кбрт 'железный' оформлено суффиксом -бвбй < рус. -овый, и это новообразование тавтологически сочетается с исконным словом кбрт, чем достигается усиление экспрессии неустанного ожидания матерью желанного поезда, который должен привезти ее сына с войны.

4. Заимствованные лексемы и грамматические формы в коми языке используются как для обогащения словарного запаса, так и для пополнения выразительных возможностей речи.

Диалекты коми языка: вс. - верхнесысольский, вым. - вымский, иж. - ижемский, лл. - лузско-летский, нв. - нижевычегодский, печ. - печорский, сс. - среднесысольский, уд. - удорский.

(ИД) Сахаров М.А., Сельков Н.Н. Ижемский диалект коми языка. Сыктывкар 1976.

(КНЭ) Микушев А.К. Коми народный эпос. М. 1987.

(КЭСК) Лыткин В.И., Гуляев Е.С. Краткий этимологический словарь коми языка. М. 1970.

Лыткин В.И. Коми кывлбн историческбй лексикология. Сыктывкар 1979.

(ЮП) Юргб парма: Литературно-художественнбй альманах. Сыктывкар 1946.

(SKES) Toivonen Y.H., Itkonen E., Joki A.J. Suomen kielen etymologinen sanakirja. II. Helsinki 1958.

Г.П.К л е п и к о в а (Москва)

РОЛЬ ВЕНГЕРСКОГО ЯЗЫКА В ПРОЦЕССАХ ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ЗОНЕ КАРПАТ (АРВАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

В настоящее время, в рамках Международной комиссии по изучению народной культуры Карпат и Балкан, интенсивно развивается этнографическое (этнологическое) направление карпатистики, вовлекающее в сферу изучения не только собственно карпатскую, но и соседние зоны. Лингвистические исследования такого масштаба представлены пока лишь "Общекарпатским диалектологическим атласом", цель которого - описание результатов контактирования языков (и диалектов) карпато-балканской зоны на протяжении достаточно длительного периода, а также - стратификация отдельных этапов этого процесса. В рамках данной общей задачи может быть изучена и роль венгерского компонента карпатского (=карпато-балканского) пространства - как источника (центра) иррадиации в пределах указанной макрозоны рядов лексических единиц, относящихся к различным тематическим группам (=ЛСГ)¹. В качестве примера заимствований из венгерского, имеющих, по данным ОКДА (вып. I, 2 и сл.), значительный ареал в соседних языках, представлены продолжения венг. *határ, karika, vályú, vám, darab*. Велико число унгаризмов, фиксируемых лишь в отдельных, маргинальных зонах; ср.: *bölcseő, rongy, szerszám* и др. (см. карты).

Помимо ОКДА, содержащего общую характеристику макрозоны, изучение венгерского влияния на языки карпатского ареала опирается и на специальные исследования, посвященные двухсторонним контактам (ср. работы П. Лизанца и др.). Ценные ареалогические данные, которые еще ждут обработки и осмысления в рамках данной проблематики, содержатся в опубликованных диалектологических штудиях языков карпатской зоны, в том числе - в лингвистических атласах (национальных, региональных). Так, большой объем информации содержится в ALR (обе серии). Например, в I-м т. ALR (S. n.) может быть указано множество изоглосс, фиксирующих значительное распространение унгаризмов - *hold* (< венг. *hold*), *juh* (< венг. *zsúp*), *hádárag* (< венг. *Josépl hadaró*), *bicău* (< венг. *bükkony*), *goz* (< венг. *gaz*) (№ 39, 77, 79, 85, 143); еще более велико число изоглосс, представляющих локализмы - прежде всего в Северо-Западной Румынии; ср.: диал. [a^higós] (< венг.

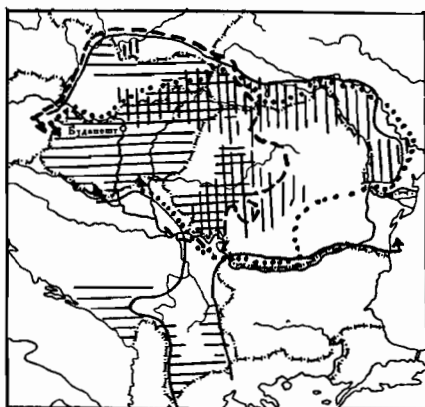
¹Источник иррадиации может не совпадать с источником этимологическим; о происхождении всех упоминаемых венгерских слов см.: *A Magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I-III. Budapest, 1967-1976.*

agyag), диал. [lúhãrã] (< венг. lőhere), диал. [telecúm] (< венг. telekkőnyv), ilãu (< венг. űllő), диал. [šoróslã] (< венг. csoroszlya) и др. Хорошо представлены заимствования из венгерского также и в атласе словацкого языка (ASJ).

Тщательное изучение типов (и конфигураций) изоглосс, по данным различных диалектных атласов, сопоставление с иными источниками (словарными, топонимическими, памятниками письменности и др.) создаст в будущем возможность с большой точностью исследовать глубину венгерского влияния на языки (и диалекты) карпатского ареала и выявить временные параметры этого влияния для различных зон и микрозон, а также более точно (в том числе и количественно) определить характер заимствованной лексики, ее распределение по отдельным лексико-семантическим группам.

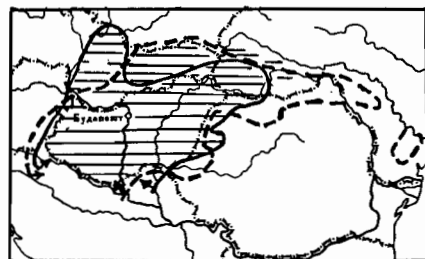
ALR - Atlasul lingvistic român. Serie nouă. I. București, 1956.

MNyA - Magyar nyelvjárások atlasza. I-VI. Budapest.



Карта 1 (по данным ОКДА, ALR, MNyA)

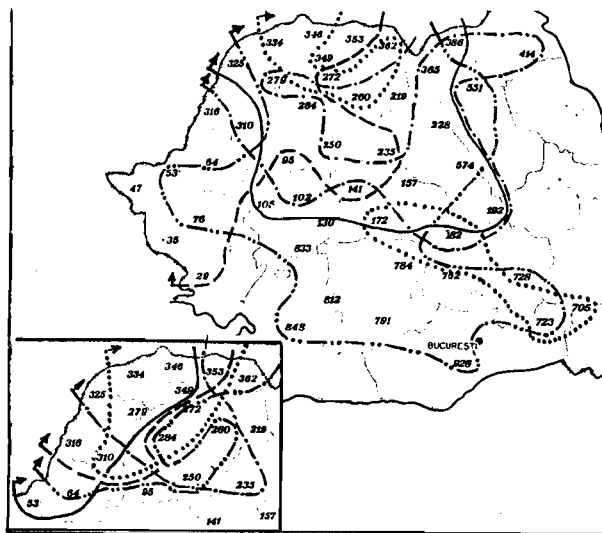
- 1. ⁺hOtar —————
- 2. ⁺val(O)v - - - -
- 3. ⁺vam(a)
- 4. ⁺karika [horizontal lines]
- 5. ⁺dArAb(a) [vertical lines]



Карта 2 (по данным ОКДА, ALR, MNyA)

- 1. ⁺bElčO(v) —————
- 2. ⁺rOnd^(s) [horizontal lines]
- 3. ⁺sersam(a) - - - -

Карта Э. Заимствования из венгерского в румынских диалектах
(по данным ALR sn, I).



- 1 - - - hold
 2 ——— hădărag
 3 - - - Jup
 4 - - - bicău
 5 goz
 (№ 39, 77, 79, 85, 143)

- 1 [ad'igós] и под.
 2 ——— [lúhără] и под.
 3 - - - [telecúm] и под.
 4 - - - ilău
 5 ——— [čoróslă] и под.
 (№ 11, 139, 148, 53, 19)

ZUFALL ODER STRUKTURELLE LEHNBILDUNG?

In der einschlägigen Fachliteratur wird nicht selten behauptet, die ungarischen Benennungen der Einer im zweiten Zehner (*tizenegy* '11' = *tíz* '10' + *en* 'auf (Dat.)' + *egy* '1' usw.) seien nach slavischem Muster (**edinŭ na desęti* > russ. *одинадцать* '11' usw.) erst nach der Landnahme der Ungarn entstanden. Bei Versuchen, um die Wahrscheinlichkeit dieser Hypothese zu beweisen, wird gerne vorwiegend auf den Umstand hingewiesen, daß dieser "lokativische Zähltypus" für Sprachen (Slavisch, Ungarisch, Albanisch, Rumänisch) charakteristisch ist, die in einer zusammenhängenden Area gesprochen werden. Die Übereinstimmung der Zahlwortstrukturen im Ungarischen und Slavischen genügt manchen Linguisten, die Struktur im Ungarischen für sekundär zu erklären. Dieser Annahme widersprechen aber einige Tatsachen:

a) Das Ungarische ist die einzige von den genannten Sprachen, in dem sich diese Struktur nicht auf die Benennungen der Einer im zweiten Zehner beschränkt, sie ist nämlich auch in der dritten Dekade (z. B. *huszonegy* '21', vgl. *húsz* '20' + *on* 'auf (Dat.)' + *egy* '1') gebräuchlich.

b) Obwohl der "lokativische Zähltypus" weniger verbreitet zu sein scheint als z. B. die Koordination der Namen der Einer und der Benennung des Zehners (z. B. *δ. dreizehn* '13', gr. *τρεῖς καὶ δέκα* id.), ist aber diese Struktur auch außerhalb der obigen Region, u. a. auch in einigen finnisch-ugrischen Sprachen bekannt; im Lule-Lappischen, Süd-Wogulischen und auch in älteren finnischen und estnischen Texten ist sie belegt.

Die Benennungen der Zahlen (insbesondere die zusammengesetzten Zahlwörter) sind oft auf Zählgesten zurückzuführen, und im Falle des Dezimalsystems spielen die Finger und die Hände eine wichtige Rolle, und so können ähnliche Zahlwortstrukturen in (sowohl benachbarten als auch nicht-benachbarten) Sprachen entstanden sein. Außerdem pflegen Sprachen einander bloße Zahlenausdrücke nicht aber Zahlwortkonstruktionen zu entlehnen. Die Herausbildung der ungarischen Zahlwörter für 11-19 läßt sich als Lehnübersetzung einer slavischen Struktur nicht bestätigen.

К КОРПУСУ РАННИХ СЛАВЯНСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ВЕНГЕРСКОГО ЯЗЫКА

Предлагаемые этимологические заметки опираются на результаты исследований автора /Хелимский 1988 и 1989/, где, в частности, выдвинуты следующие тезисы:

– Подавляющее большинство ранних славянских заимствований в венгерском языке были восприняты после переселения венгров в бассейн Дуная и имели своим источником позднепраславянский /IX–XII вв./ диалект паннонских славян, распространившийся в качестве койне на всей территории исторической Венгрии.

– Нормы фонетической субституции в этих заимствованиях носят регулярный характер и позволяют реконструировать основные историко-фонетические особенности диалекта паннонских славян, а в ряде случаев и однозначно восстановить облик славянских слов-источников, см. /Хелимский 1988, 352–360/.

– Поскольку диалект паннонских славян, послуживший субстратом для венгерского языка, исчез, сами по себе венгерские данные могут служить источником для позднепраславянской реконструкции лексики, особенно интересным и надежным с точки зрения возможности констатировать древность словообразовательных дериватов.

– В определенных случаях венгерские данные существенны и для славянской акцентологии, поскольку при венгерском сингармоническом выравнивании заимствованных разнорядных слов гармоническим центром становился ударный гласный славянского слова.

1. Венг. *bot* "палка, дубинка; /ст.-венг. тж./ скипетр, булава" /засвидетельствовано с конца XIУ в./: раннее заимствование из слав. **bътъ*, ср. болг. диал. *бѣтъ* "железное острие, которым подгоняют волов", ? схрв. *bat* "вид оружия, которым наносят удар", слн. *bât* /также *bêt, bît* / "дубинка, деревянная колотушка, деревянный молоток", ц.-слав. *бѣтъ* "*sceptrum*" и др. /ЭССЯ 3, 141/. И. Книжежа /Kn. 801–802/ и TESz 1, 353–354 с колебаниями возводят венг. *bot* к слав. **batъ* "дубина, палка и т.д." /об этом слове и его частичной контаминации с **bътъ* см. ЭССЯ 1, 167/. С фонетической точки зрения это объяснение неприемлемо – при слав. **batъ* ожидали бы венг. **bât*, см. уже Ásbóth 1903, 111–115. Напротив, соотношение слав. *ъ* /в сильной позиции/ : др.-венг. *u* : совр.

венг. о вполне регулярно, ср. слав. *ръѣъ : венг. *rozs.* Данные ЭССЯ устраняют сомнения в реальности слав. *вьть /Кн. 801/, а несомненная связь с *вьтьва исключает возможность обратного направления заимствования /венг.> слав./.

2. Венг. *buta* "глупый; /ст.-венг. тж./ тупой" /1645; 1199: *Butha* ЛИ/: неотделимо от слав. **buta*, ср. схрв. *bûta* "шишка, нарост, сук /на дереве/", слн. *bûta* "большоголовный человек; тупой человек", пол. *buta* "зазнайство, гордыня", укр. *бу́та* "гордость, высокомерие, спесь" /ЭССЯ 3, 101-102/. Ср. еще укр. диал. /бойк./ *бу́тити* "буйствовать" при венг. *butít* "дурачить, дурманить". TESz 1, 395-396 считает *buta* словом неизвестного происхождения.

3. Венг. диал. *cserény* "сплетенное из прутьев изделие /ок. 1395/; примитивное жилище пастуха /1763/; низкая дверь перед входом в кухню крестьянского дома /1862/; часть печи, стены или потолка возле печи /1863/": согласно Кн. 813-815 и TESz 1, 507-508, не может отражать слав. **čerěнь* /как предполагалось в других работах - см. EtSz 1, 972 и Skok 1 sub *čérjen*/ из-за несоответствия в семантике. Предлагалась финно-угорская этимология слова *cserény*, которая, однако, ошибочна /см. MSzFE 597; UEW 472/. Полная совокупность славянских данных не оставляет сомнений в тесной связи венг. *cserény* с прямыми рефлексами слав. **čerěнь* /фонетическое соответствие безупречно/, ср. болг. /Геров/ *чѣрѣнь* "верхняя часть очага", макед. *черен* "свод над очагом", схрв. диал. *čérjen* "место над огнем; мелкая корзина для сушки зерна над огнем", слцк. *čereň* "рыболовная сеть, подвешенная на двух согнутых, положенных крест-накрест прутьях" и др. /ЭССЯ 4, 64-65/. Венгерские данные - в особенности архаичное общее значение "сплетенное из прутьев изделие" - служат существенным подкреплением для обоснованной в ЭССЯ семантической реконструкции /"*сеть, плетенка", к и.-е. *k^uer-/*ker- "плести"/.

4. Венг. *galbca* "дунайский лосось, *Salmo hucho*": из слав. **glavica* /< **golvica*, см. ЭССЯ 7, 8-9/, ср., в частности, укр. *голови́ця* "*Salmo hucho*" /ЕСУМ 1, 550/. К фонетике ср. венг. *lбca* "скамья" из слав. **lavica*. Сравнение со слав. **golvatica* /откуда схрв. *glàvatica*, укр. *голови́тиця* "*Salmo hucho*", см. Кн. 179 и TESz 1, 1020-1021/ неточно и фонетически неприемлемо /ожидалось бы венг. **gal(á)váca*/.

5. Венг. *garázda* "сварливый, грубый, хулиганский" /1375: Ga-

razda ЛИ/: мнение о заимствовании из слав. *gorazdъ, с характерным для прилагательных славянского происхождения использованием формы ж.р. /**gorazda/, уже высказывалось /см., например, ETSz 1, 1056-1059/, но затем было оспорено /Kniezsa 1956, 332-335; TESz 1, 1029/ ввиду семантического несоответствия, ср. присущие рефлексам слав. *gorazdъ значения "большой; удачливый, ловкий, счастливый; искусный, умелый, способный, сведущий; хорошо сделанный; сильный, хороший, годный; готовый, скорый на что-л." /ЭССЯ 7, 32/. Однако эти сомнения полностью рассеиваются при учете семантики производного глагола *gorazditi, ср. пол. диал. *garaździć* "бесчинствовать, сеять смуту", чеш. диал. *horazditi* "бранить, ругать", рус. диал. /нижегор./ *гораздить* "делать, совершать что-л. плохое или такое, чего не ждали" /ЭССЯ 7, 31-32/. Венгерский материал указывает на то, что в славянском рано произошло расщепление семантики заимствованного герм. *garazds "речистый" /->"умный, способный" и ->"сварливый"/.

6. Венг. диал. *geréb* "запруда, насыпь, дамба, гать, плотина, препятствие /1611/; хребет, позвонок /1742/; сухая ветка /1801/; дверной засов /1864/": исходя из историко-фонетических закономерностей, может отражать слав. *grěbъ, *grěbь или *grěby. В ЭССЯ не приводится ни одна из этих форм, но для *grěbь ср. рус. диал. /волог., перм./ *грѣбь* "весло", а *grěby может быть апофоническим вариантом к *greby, *greben- /ЭССЯ 7, 112-113/. В любом случае, речь идет о деривате глаголов *grebati/*grěbati, *grebti; к семантическим параллелям среди других именных образований от этих глаголов ср. рус. диал., укр. *грѣбля* "гать, плотина" /**grebja/, макед. диал. *гребен* "хребет у скотины". Ошибочны возведение венг. *geréb* к слав. *grьbь /Кн. 189/ и версия об ониматопоэтическом характере слова /TESz 1, 1048-1049/.

7. Венг. диал. *kelence* "вид /огороженной/ пасеки" /с 1642/: вероятно, из слав. *klonica от *klonja "ловушка для птиц, клетка для кур, рыболовное приспособление с сеткой, рыболовная сеть и т. д." /ЭССЯ 10, 68/. По значению венгерское слово более естественно связывается с производящей основой *klonja, нежели те славянские формы, которые приводятся в ЭССЯ 10, 66 sub *klonica /их значения - "тележный сарай; навес; сени, передняя; стойка у телеги" унаследованы скорее от слав. *kolьnica - скрв. *kòlnica* "каретный сарай" и т.д./. Существенно менее вероятны предлагаемые для венг. *kelence* в Кн. 261 и TESz 2, 429-430 сравнения со слав. *kolьna, *kolьnica

"сарай", или со слав. *kalenica "глиняный сосуд; кровля из соломенных снопиков, обмазанных глиной; конек крыши", или с схрв. klānica "плетеный загон для скота".

8. Венг. kelengye "приданое, подарки родителей к бракосочетанию" /с 1787/: несмотря на относительно позднюю фиксацию, может представлять собой раннее /до утраты ринезма/ заимствование из слав. *kolęda "обряд, связанный с началом года", ср. к значению, в частности, н.-луж. kóloda "подарки на новый год", пол. kolęda "рождественский подарок" /ЭССЯ 10, 134-135/. Нельзя полностью исключить контаминацию со ср.-лат. clenodium "сокровище, драгоценность", которое TESz 2, 430 приводит как возможный источник венг. kelengye /два других варианта этимологизации, указанные там же, неприемлемы/.

9. Венг. lēdněk, диал. lënděk, lēnněk "вика, Lathyrus" /1471: lednyk, 1533: lennők, 1664: lendeck-/: считается заимствованием из слов. ledník < слав. *lędnĭkъ /Кн. 309-310; TESz 2, 738/. Однако существование вариантов с -dn-, -nd- и -nn- свидетельствует о том, что эти варианты представляют собой собственно венгерские преобразования исходного др.-венг. *lindnik, что точно соответствует праславянской форме с сохранением носового гласного в первом слоге.

10. Венг. диал. susnya "хворост, валежник; боковой побег" /с 1828/: очевидно, вторичное образование от susnyák, переосмысленного как форма мн.ч. /ср. совр. susnyák, мн.ч. к susnya/, и непосредственно восходящего к слав. *sušъnjakъ /рус. сушнĭк/. Кн. 481 и TESz 3, 622 привлекали для объяснения слн. sušnjād "сухие ветки".

11. Венг. terēm /косв. terme-/ "зал": известно, что это слово, восходящее к слав. *trěmъ /< *termъ/, было известно венгерскому языку в XIII-XV вв., затем вышло из употребления и было оживлено М.Реваи в период "обновления языка", в конце XVIII в., см. Кн. 771-772 и TESz 3, 897-898. Следует констатировать, что форма оживленного слова неточна: в старовенгерский период оно, несомненно, имело долгий гласный во втором слоге - terēm - и не теряло этот гласный в косвенных формах, ср. 1356: Bankneutereme MN /Oklsz 980/. Форма terēm /в отличие от terēm/ точно соответствует наблюдаемым в других случаях нормам рефлексии, ср. венг. szerép "черепаха, черепок" из слав. *črěpъ /< *čerpъ/ или венг. veréb "воробей" из слав. *vrěbъ /< *verbъ/.

12. Венг. диал. *torha* "рыхлый, мягкий, вялый, дряблый; трухлявый, ломкий" /с 1694/: из слав. **truxъ*, откуда и др.-рус. *трухъ* "прелый, трухлявый, мрачный" /Фасмер 1У, 111/ - с обычным для прилагательных славянского происхождения использованием формы ж.р. /**truxa*/. К фонетике ср. венг. *korpa* "отруби, перхоть" из слав. **krupa* или венг. *szolga* "слуга" из слав. **sluga*. TESz 3, 944 оставляет венг. *torha* без удовлетворительного объяснения.

13. Слав. **dьrtьsa* "мука крупного помола", производное от **dьrtь*, ср., в частности, укр. *дєрть* "крупно смолотая мука для корма скота" /ЭССЯ 5, 227; ЕСУМ 2, 41/. Древность данного деривата удостоверяет венг. *derce* /диал. *děrcе*/ "мука крупного помола" /с 1621, но ср. XII в.: *Durche* МН/. Славянская этимология указана О.Ашботом /"Nyelvtudomány" 1, 1906, 157. 1./.. Фонетически неправдоподобно возведение венгерского слова к слав. **тьрицє* "отруби" /Кн. 151; TESz 1, 616/.

14. Слав. **etrocělъ* /фитоним/, сложение из **etro* "печень, внутренности" и **cělъ* "целый" /см. ЭССЯ 6, 72-73 и 3, 179-180/: реконструируется на основе венг. *atracél* "растение *Anchusa*, /ст.-венг. и диал. тж./ *Cynoglossum, Borrago, Atriplex*" /1401: *Atroschel* ЛИ/, слк. *jatrocel* "подорожник", а также чеш., слк. *jitrosel* "id." /контаминация с чеш. *jitro* "утро", ср. еще синонимичные *skorocel, ranocel*/. Ценность венгерской формы состоит в том, что, в отличие от славянских, она не могла подвергнуться народно-этимологическому переосмыслению. С фонетической точки зрения она объяснима из незавидетельствованного **antracél*, отражающего славянскую форму без j-протезы, прошедшую сингармоническое выравнивание по ударному гласному второго слога. Ср. Mikl. 104; EtSz 1, 176-177; Кн. 67 и TESz 1, 196 /неточно: венг. < слк. с утратой - на венгерской почве/; Machek 229 /предлагается слав. **jědro-cělъ*/.

15. Слав. **košinica* "/домашняя, комнатная/ печь", дериват от **košinъ* "дымоход" /из греч. *καμίνος*, лат. *camīnus*/: отражено, по видимому, только в венг. *kemence* "печь" /1156: *Kemence* МН/. Обычно венгерское слово возводят к слав. **kamenica* /Кн. 261-262; TESz 2, 436-437/ - названию различных каменных предметов или скоплений камня, однако фонетически нормальным отражением слав. **kamenica* было бы венг. **kámanca* /**kamanca*/. Не исключено, что рус. диал. *каменица, каменница, каменца, каменьца* "печь, сложенная из камней в бане, курной избе, хлеве и т.д." /СРНГ 13, 17-21/, укр. диал. /закарп./ *каменця* "печь", ст.-слк. *kamenca* "печь" /ЭССЯ 9, 134-

135 sub **kaменьсь*/, как и рефлексы слав. **kaменька* /ЭСЯ 9, 133-134/, в той или иной степени обязаны своим происхождением контактами несохранившегося слав. **komіnca*/и **komінька?*/ с семьей слав. **kaмy*, **kaмен-*.

16. Слав. **kadarjь* "бондарь, бочар": этот дериват от **kadь* "кадка" /ЭСЯ 9, 112/ несомненно является праславянским, на что указывает венг. *kádár* "id." /1288: *Kadar* ЛЛ/, см. Кн. 657-658 и TESz 2, 300-301. В то же время не исключено, что по крайней мере частично венгерскими заимствованиями являются /или сохранились без консервирующего воздействия венгерского языка/ соответствующие формы в соседних с венгерским языках: схрв. *kādār*, слн. *kádar* /диал. *kádár*/, ст.-слщк. *kádár*.

17. Слав. **věžnikь* "название породы собак": в пользу праславянской древности чеш. *věžník* "порода домашних и сторожевых собак" /*Maček* 688: к слав. **věža*, **věžja* "кибитка"/ свидетельствует старовенгерское слово, единственный раз засвидетельствованное глоссой *vesnek* "investigator" /*Besztercei Szójegyzék*, ок. 1395/. С учетом регулярных корреспонденций, это слово должно было звучать как *věznek* - фонологизация *veznek* /*RMG1* 771; Кн. 556/ с кратким гласным первого слога неточна.

18. Слав. **xrakь* "мокрота" /ср. **xrakati* "харкать, откашливаться, плевать" - ЭСЯ 8, 89/: праславянская древность этого именного образования, отраженного в рус. диал. /Даль/ *xрак* "харканье, харкотина", удостоверяется благодаря венг. диал. *harák* "мокрота" /с 1840; поздняя фиксация обусловлена диалектным характером и "нелитературной" семантикой слова/. Уже на венгерской почве от *harák* образован производный глагол *harákol* "харкать, откашливаться". По справедливому замечанию И.Книежи, сам по себе этот глагол не может быть славянским заимствованием /ожидалось бы или венг. **harákál* из слав. **xrakati*, или венг. **harácsol* из слав. **xračiti*/, однако из этого делается ошибочный вывод о том, что венгерские слова представляют собой независимые от славянских образования звукоподражательной природы /Кн. 837; TESz 53/.

Литература и сокращения

/ЕСУМ/ *Етимологічний словник української мови*, 1-. Київ, 1982-.

/ЛИ/ личное имя

/МН/ местное название

/СРНГ/ *Словарь русских народных говоров*, вып. 1-. М.-Л., 1965-.

- /Фасмер/ Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, т. 1-4. М., 1964-1973.
- Хелимский Е.А. Венгерский язык как источник для праславянской реконструкции и реконструкции славянского языка Паннонии. - В кн.: Славянское языкознание. X Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1988, 347-368.
- Хелимский Е.А. Славянское койне в Венгрии Арпадов и происхождение славяно-венгерских топонимов в Трансильвании. - В кн.: Материалы к VI Международному конгрессу по изучению стран Юго-Восточной Европы: Лингвистика. М., 1989, 48-54.
- /ЗССЯ/ Этимологический словарь славянских языков, вып. 1-. Под ред. О.Н.Трубачева. М., 1974-.
- Ásbóth O. A magyar nyelv árja és kaukázusi elemei. - Nyelvtudományi Közlemények, 33. köt., 1903, 92-122, 216-235, 453-475.
- /Etsz/ Gombocz Z., Melich J. Magyar Etymologiai Szótár, 1-2. köt. Bp., 1914-1944.
- /Kn./ Kniezsa I. A magyar nyelv szláv jövevényszavai, 1-2. r. Bp., 1955.
- Kniezsa I. További pillantások "A magyar nyelv szláv jövevényszavai" némely részébe. - In: Pais-Emlékkönyv: Nyelvészeti tanulmányok. Bp., 1956, 329-336.
- /Machek/ Machek V. Etymologický slovník jazyka českého. Pr., 1971.
- /Mikl./ Miklosich Fr. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.
- /MSzFE/ A magyar szókészlet finnugor elemei: Etimológiai szótár, I-III. Bp., 1967-1978.
- /Oklsz/ Szamota I., Zolnai Gy. Magyar oklevél-szótár. Bp., 1902-1906.
- /RMGI/ Régi magyar glosszárium. Szerk. Berrár J. és Károly S. Bp., 1984.
- /Skok/ Skok P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. 1-3. Zagreb, 1971-1973.
- /TESz/ A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, 1-3. köt. Bp., 1967-1976.
- /UEW/ Rédei K. Uralisches Etymologisches Wörterbuch, lfg. 1-. Bp., 1986-.

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКО-ВЕНГЕРСКИЕ ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ

Проблема этноязыковых контактов своей актуальностью и важностью привлекала и привлекает внимание многих ученых. Исследование этой проблемы является одной из важнейших задач лингвистики и этнографии, ибо изучать межязыковые (междialeктные) контакты можно только в неразрывной связи с историей соответствующих народов, с их материальной и духовной культурой.

Известно, что венгерские кочевые племена уже на протяжении VIII-IX в. находились в непосредственных контактах с восточными славянами. К числу таких племен относились в первую очередь поляне, северяне и вятичи. Эти племена жили в степной полосе, и именно по их территории проходили венгерские племена. Наиболее высоким уровнем культуры отличались поляне, на территории которых в течение IX в. образуется государство - Киевская Русь. Многие исследователи считали, что венгерские племена появились в степях на север от Черного моря в 30-х гг. IX в., а это означает, что они находились в контактах с восточными славянами на протяжении 50 лет. Однако, новейшие данные лингвистики, этнографии и археологии дают основания предполагать, что венгерские племена значительно раньше вошли в контакт с восточными славянами. Так, например, историки Э.Молнар, В.П.Шушарин считают, что контактирование венгров с восточными славянами продолжалось около 100 лет (Перени 1956, 28-29). Другие исследователи эти контакты относят к середине VII - концу IX в. (то есть почти 300 лет) (Рот 1973, 195). Я.Мелих считает, что словом *ogre* восточные славяне называли оногуров, а позднее - венгров. В VI-VII вв. союз оногуров распался, и с VII-VIII вв. слово *ogre*, видимо, использовалось для обозначения венгров (Melich 1917, 244-250). И.Перени приходит к выводу, что славянское название венгрн могло возникнуть в период с последних десятилетий VI в. до нач. VIII в. (Перени 1956, 12). Г.Барци отмечает, что в

последнее столетие своей кочевой жизни до занятия современной территории венгерские племена находились в контактах с восточными славянами. Не исключено и то, как далее отмечает Г.Барци, что венгерские племена заимствовали у восточных славян и ряд слов, связанных с терминологией христианства: *szombat* 'суббота', *kereszt* 'крест', *karácsony* 'рождество' и др. (Bárczi 1963, 48-49).

Большинство венгерских языковедов слово *lengyel* 'поляк' в венгерском считает восточнославянизмом (Kniezsa 1955, 312-313). К числу восточнославянизмов историк Й.Перени относит и такие онимы, как *jász* 'яс' и *német* 'немец'. Венгры узнали об этих народах именно тогда, когда жили по соседству с восточными славянами (Перени 1956, 27). Таким образом, если благодаря восточным славянам венгры познакомились с тремя народами и переняли названия этих народов, то не подлежит сомнению, что контакты между восточными славянами и венграми были довольно продолжительными. Нам кажется, что во второй половине VII в. дунайские болгары ушли с побережья Черного моря, а на опустевшие причерноморские степи, перейдя Дон, переселились венгерские племена, которые вступили в непосредственные контакты с восточными славянами, вместе возделывали землю, занимались рыболовством и скотоводством. Поэтому считаем правильным мнение Й.Перени, что "венгры заимствовали много элементов из развитой славянской земледельческой культуры еще до прихода в Дунайский бассейн" (Перени 1956, 26). Таким образом, если теперь опять пересмотрим лингвистические и этнографические данные, свидетельствующие о соприкосновении венгров с восточными славянами, и сравним их с данными, имеющимися в арабских источниках, то можем установить, что связи между обоими народами были более тесными и более многогранными, а главное - более продолжительными, чем до сих пор предполагали языковеды, историки, этнографы и другие специалисты, занимающиеся древней историей венгров. Часть венгров, как отмечает Й.Перени, жи-

ла постоянно среди восточных славян, вместе с ними возделывала землю и ловила рыбу (Перени 1956, 28-29). Свидетельством этому является ряд восточнославянских заимствований в венгерском языке: в. (венгерское) bab < др. (древнерусское) бобъ 'боб', в. borona < др. борона, в. dinnye < др. дыня 'арбуз', в. halom < др. хълмъ 'горб', 'хълм', в. ikra < др. икра, в. iszap < др. исъпь 'мелководье', в. kereszet < др. кречеть 'чкада', в. naszád < др. насадъ 'вид судна', в. rozs < др. ръжь, в. szégye < др. сѣджа 'рыболовная сеть', в. szín < др. сѣнь 'навес', в. taliga < телѣга 'двухколесная повозка', в. tanya < др. тоня 'место, где ловят рыбу' и другие.

Заселяя постепенно новые территории на северо-востоке, венгры в конце IX в. занимают Карпатскую низменность, продвигаются дальше на запад и только в конце XI и нач. XII в. вступают в непосредственные и продолжительные контакты со славянским населением, в том числе и с восточными славянами (позднейшими украинцами).

Волею судьбы таких контактов постепенно между двумя языками (украинским и венгерским) и их говорами происходит взаимодействие, в результате которого много украинских слов вошло в соседние венгерские говоры, так же как значительное количество венгерских слов - в соседние украинские говоры Закарпатья. Это в первую очередь слова, связанные с повседневной жизнью. Среди украинизмов в венгерском языке (говорах) можно отметить следующие: в. babájka < у. (диалектное украинское) бабал'ка 'клецка, род галушек, приготовляемых к Рождеству', в. berbenyca < у. бербениця 'боченок для овечьего сыра', в. brána < у. брага 'род напитка из просяного солода', в. bránka < у. бранка 'составная часть ткацкого станка', в. burjan < у. бурян 'сорная трава', в. cerkó у. църков 'церковь', в. cípke < у. цїпки 'составная часть ткацкого станка', в. csereda < у. череда, 'стадо крупного рогатого скота', в. cseresz < у. черес 'широкий кожаный пояс с украшениями', в. csorpak < у. чер-

пак 'большой деревянный ковш для набирания воды', в. kocserha < у. кочерга, в. korácska < у. копачка 'кирка', в. kutacs < у. кутач 'маленькая железная кочережка', в. lopátka < у. лопатка 'молодой стручок фасоли', в. morokó < у. морков 'морковь', в. pászma < у. пасмо 'пасмо, мера ниток при прядении', в. zaha < у. зага 'изжога', в. zámiska < у. замиска 'еда, приготовленная из кукурузной муки' и другие.

Довольно значительное количество венгерских заимствований находим в соседних украинских говорах Закарпатья. Среди наиболее распространенных в украинских говорах Закарпатья венгеризмов, обозначающих предметы и понятия из повседневной жизни, можно назвать следующие: у. алдомаш < в. áldomás 'магарыч', у. бирфа < в. bérfa 'боковая решетка повозки в виде лестницы', у. битанга < в. bitang 'лентяй', 'дебошир', у. боганчи < в. bakancs 'тяжелые ботинки', у. босорканя < в. boszorkány 'ведьма', 'баба-яга', 'колдунья', у. гат'и < в. gatyá 'подштанники', 'штаны из домотканного полотна', у. гуляш < в. gulyás 'суп-гуляш', у. дуна < в. dunna 'перина', у. жеб. < в. zseb 'карман', у. кефа < в. kefe 'щетка для чистки одежды (туфель)', у. лабош < в. lában 'сковородка', у. левеш < в. leves 'мясной суп', у. надраги < в. nadrág 'брюки', 'штаны', у. прийзли < в. prézli 'толченые сухари', у. рантста < в. rántotta 'яичница', у. тивчир < в. tőcsér 'лейка', у. фогош < в. fogas 'вешалка', у. цібзар < в. cipzár 'застежка-молния', у. чіжмы < в. csizma 'сапоги', у. шонка < в. sonka 'окорок' и другие.

Таким образом, продолжительные непосредственные контакты венгров с восточными славянами, в частности, с украинцами способствовали взаимообогащению материальной культуры обоих народов и оставили свои следы в языке. Такое взаимообогащение контактирующих равноправных языков (говоров) сыграло положительную роль. Так, собранный нами лексический материал, касающийся венгерско-

украинских междиалектных контактов, дает основания утверждать, что высокая культура украинцев в строительстве деревянного жилья оказала определенное влияние на строительную культуру венгров: у. рог, руг 'составная часть кровли хаты' > в. диал. *rag*, у. селемено 'одна из поперечных балок в деревянном потолке хаты' > в. диал. *szelemen*, у. стриха 'соломенный или дощатый карниз под крышей' > в. диал. *iszterha, isztorha*, у. кобилина 'стропила соломенной кровли хаты' > в. диал. *kabylyna*, у. павузина 'стропила соломенной кровли хаты' > в. диал. *pavuzina*, у. оборіг 'навес, соломенная кровля на столбах для хранения сена' > в. *oboga* и др. В свою очередь, часть лексики, связанной со строительством жилья из кирпича и камня, украинцы Закарпатья переняли у венгров: в. диал. *garádics* 'лестница', 'лестенка (при входе в дом)' > у. гарадичи, в. *tégla* 'кирпич' > у. тигла, тийгла, в. *kilincs forgató* 'деревянная (металлическая) дверная ручка' > у. кілінч, форгіта, в. диал. *szegelet* 'внешний или внутренний угол дома' > у. сегелет, в. *tornác* 'полукрытое крыльцо вдоль хаты' > у. торнац, в. *csatorna* 'водосточная труба' > у. чотырна и др. Такакую лексику венгры позаимствовали у славян, в том числе и украинцев Закарпатья: у. бердо > в. *borda* 'составная часть ткацкого станка', у. човник > в. *csónak* 'составная часть ткацкого станка', у. ціпки > в. *cipke* 'составная часть ткацкого станка' и т.п. Здесь следует говорить не только об обогащении лексики двух контактирующих народов, но и об обогащении их материальной культуры, ведь заимствовались и конкретные предметы материальной культуры, их устройство, способ употребления. Все это сближало народы, они становились богаче в плане языка, материальной и духовной культуры.

Таким образом, многовековая совместная экономическая, политическая и культурная жизнь украинцев Закарпатья с венграми, постоянное общение между ними не могли не содействовать распространению среди украинского

населения (преимущественно в районах непосредственного контактирования с венграми) целого ряда лексических мадьяризмов, а среди венгерского населения Закарпатья — лексических украинизмов, вместе с ними и целого ряда предметов и понятий материальной и духовной культуры. Язык и культура этих двух народов стали еще богаче и именно потому, что более 800 лет — до 1867 г., до принятия австро-венгерского дуализма, — контакт между этими народами, их языками и культурами был непосредственным и естественным.

Перени И. Взаимоотношения между венграми и восточнославянскими племенами. — *Studia Slavica* II, Budapest, 1956.

Рот А.М. Венгерско-восточнославянские языковые контакты. Будапешт, 1973.

Melich J. Über der Ursprung des Namens Ungar. — *Archiv für slavische Philologie* XXXVIII. Berlin 1917.

Bárczi G. A magyar nyelv életrajza. Budapest, 1963.

Kniezsa I. A magyar nyelv szláv jövevényszavai. I/1. Budapest, 1955.

БАЛТЫ И ФИННО-УГРЫ В ДРЕВНОСТИ
/по археологическим материалам/

Начало этноязыкового взаимодействия между финно-уграми и балтами, игравшими на протяжении тысячелетий важную роль в истории Северо-Восточной Европы, восходит к II тыс. до н.э. Финно-угорский этнос по крайней мере с эпохи неолита занимал обширные пространства Восточной Европы от побережья Балтийского моря на западе до Уральских гор на востоке, а также часть западносибирских земель /племена культур ямочно-гребенчатой и гребенчатой керамики/. В конце III - первой половине II тыс. до н.э. миграционные волны древнеевропейцев, представленные культурами шнуровой керамики, достигли финно-угорского ареала и вклинились в него.

Оторвавшись от основного массива древнеевропейцев, племена жуцевской и среднеднепровской культур шнуровой керамики, расселившиеся еще во второй половине III тыс. до н.э. в прибалтийско-днепровском регионе, постепенно трансформировались в балтов /Моора 1958, 9-21/. Очевидно, процесс формирования балтов начался с момента отделения племен шнуровой керамики от основного ствола древнеевропейцев, но четкой хронологической грани между древнеевропейцами прибалтийско-днепровского региона и балтами по археологическим материалам провести невозможно.

На территории южной Финляндии, Эстонии и Латвии, а также на смежных землях Чудского и Ильменского бассейнов племена культур шнуровой керамики расселились в среде финно-угорского населения, занимавшегося преимущественно охотой и рыболовством. Переселенцы - первобытные скотоводы-земледельцы, попав в новую природную среду, изменили характер своего хозяйства, постепенно приближаясь к экономике местных охотников и рыболовов. В конечном итоге это привело к усвоению племенами культур шнуровой керамики языка аборигенов.

Один из крупных массивов племен культур шнуровой керамики занял Волго-Окское междуречье и часть средневолжских земель /фатьяновская культура с её балановской группой/. Начиная с середины II тыс. до н.э. здесь имел место процесс растворения фатьяно-

вской культуры в появившихся здесь новых археологических культурах - ранней текстильной керамики, поздняяковской и абашевской. Судя по данным археологии, в результате возобладали в этом регионе диалекты волжско-финского языка. Б.А.Серебренников, исследуя поволжско-финские языки, показал наличие в них древних элементов индоевропейского языка, весьма близкого к балтским /Серебренников 1957, 69-73/. Нужно полагать, что древними индоевропейцами, проживавшими в Волго-Окском междуречье были фатьяновские племена.

Следующий этап контактов балтских и финно-угорских племен относится к раннему железному веку. К этому времени более или менее стабилизировалась граница, разграничившая финно-угорский мир и сформировавшийся балтский этнос. Она проходила в Прибалтике приблизительно по Даугаве, далее на восток шла к верховьям Ловати и истокам Днепра, потом поворачивала на юго-восток, пересекала Оку недалеко от устья Угры и далее проходила по водоразделу Оки и Дона. К северу и северо-востоку от этой границы простирались обширнейшие земли финно-угорского этноса. Ближайшими к балтам были племена культуры текстильной керамики /дьяковская и городецкая/, составлявшие по всей вероятности волжско-финскую этноязыковую общность.

Балты - юго-западные соседи финно-угров заселяли области от юго-восточного побережья Балтики на северо-западе до верховьев Оки на востоке и Среднего Поднепровья на юге. Этот этноязыковый массив к раннему железному веку дифференцировался на три группы - западную /племена культуры западнобалтских курганов/, срединную /племена культуры штрихованной керамики/ и днепровскую /племена днепро-двинской культуры, верхнеокской и ихновской/. На западной и южной окраинах балтского ареала сформировались культуры периферийных балтов.

Несмотря на некоторую стабильность границы между финно-угорским и балтским этносами, нередко имели место неоднократные миграции и инфильтрации балтов в земли финно-угорских племен.

Штрихованная керамика в эпоху раннего железа была одним из характернейших индикаторов культуры срединной группировки балтов. На поселениях Эстонии и Северной Латвии, а также в древнем Новгородском крае и в верховьях Западной Двины вместе с глиняной посудой с текстильными отпечатками, характерной для финноязычного мира, постоянно присутствует и штрихованная керамика, проникающая еще в Приладожье и южные районы Финляндии.

Этот факт скорее всего отражает неоднократную инфильтрацию балтов в среду финского населения прибалтийско-ильменского региона. Данные современных прибалтийско-финских языков определенно свидетельствуют о значительном балтском воздействии на язык финского населения этого региона. Оно проявляется не только в лексике, но и в некоторой степени и в грамматике и фонетике /Аристе 1956, 11-14/.

В этой связи мною была высказана гипотеза о формировании прибалтийско-финского языка-основы на в результате территориального и культурного обособления его носителей от волжско-финской этноязыковой общности, а в условиях внутрорегионального взаимодействия древнего финского населения прибалтийско-ильменского региона с балтским этносом, в условиях ассимиляции балтов западной частью населения, составлявшего волжско-финскую языковую общность /Sedov 1980, 429-438/.

Обратная инфильтрация финно-угорского населения на балтскую территорию была незначительной. Фрагменты текстильной керамики, встречаемые изредка на отдельных поселениях днепро-двинской культуры, весьма немногочисленны. Большой интерес для изучения культурных связей балтов с финноязычными племенами представляют находки глиняных грузиков дьякова типа. Эти предметы в большом числе встречаются на памятниках дьяковской культуры, являясь одной из характернейших находок её. Назначение этих предметов окончательно не определено. Наиболее вероятным является предположение о связи грузиков дьякова типа с культовыми представлениями древнего финского населения лесной полосы Восточной Европы.

Грузики дьякова типа встречены и на ряде поселений днепро-двинской культуры и культуры штрихованной керамики, определенно свидетельствуя о каких-то связях жителей северных балтских регионов с населением дьяковской культуры. Возможно, что встречаемость грузиков дьякова типа в северных частях балтского ареала отражает общность каких-то языческих представлений, которая восходит к более отдаленной древности, к формированию части балтов в условиях взаимодействия древнеевропейского населения с финно-угорским субстратом.

Следующий этап балто-финно-угорского взаимодействия характеризуется неоднократными и глубокими миграциями более или менее крупных групп балтского населения в области расселения по-

волжских финнов. Уже в последних веках I тыс. до н.э. наблюдается передвижение племен днепро-двинской культуры из Смоленского Поднепровья в западные районы Волго-Окского междуречья. В результате на поселениях дьяковской культуры этого региона исчезает текстильная керамика — один из этнических маркеров финского этноса, появляются новые виды глиняной посуды и изменяется характер домостроительства. Новая культура, сложившаяся в поречье Москвы-реки и на верхней Волге, не была простым продолжением днепро-двинской, она сформировалась в результате смещения культуры местных финнов с культурой пришлых балтов /Седов 1970, 28-30/. По всей вероятности, московецкие и верхеволжские городища первой половины I тыс. н.э. отражают некоторое сосуществование в этом регионе балтского и финского этносов.

Одна из миграционных волн балтов достигла рязанского течения Оки. В середине I тыс. н.э. здесь складывается культура рязанско-окских могильников. Захоронения по обряду трупосожжения в них вполне определенно относятся к непосредственным переселенцам из балтских земель. Погребения по обряду ингумации с северной ориентацией и вещевыми материалами, характерными для финно-угорского мира, бесспорно принадлежат местному населению, а по обряду трупоположения с восточной ориентацией и инвентарем, имеющим многочисленные аналогии среди древностей балтов, свидетельствуют о начавшемся смещении балтских переселенцев с финноязычными аборигенами /Седов 1966, 86-104/. Миграция балтов в Рязанское Поочье осуществлялась из верхневолжских земель.

Продвижение балтов в области поволжско-финских племен не ограничилось рязанским течением Оки. Отдельные группы балтов мигрировали далее на восток и юго-восток и, по всей вероятности, растворились в среде мордовского населения. Об этом свидетельствует поразительное сходство целого ряда предметов мордовской женской одежды VII-VIII вв. /головные венчики, шейные гривны, некоторые типы браслетов/ с типично балтскими украшениями.

Очень вероятно, что значительная группа балтского населения не позднее IV-V вв. н.э. из Днепровского левобережья мигрировала еще в более восточные области Среднего Поволжья и в Западное Приуралье, создав именьковскую культуру. Последняя датируется V-VII вв. и занимала черноземные районы Среднего Поволжья от Самарской луки на юге до низовьев Камы на севере, а на востоке-часть Приуралья до уфимского течения р.Белой. Это были первые

в этом регионе пашенные земледельцы, осевшие на землях, в предшествующее время практически не заселенных. Судя по облику именьковской культуры, ее носители были тесно связаны с зарубинецкой или близкой ей культурой.

Некоторые археологи склонны относить племена зарубинецкой культуры к балтам, Однако не это является основным в балтской атрибуции именьковского населения /Халиков 1988, 119-126/. Следями пребывания балтов в именьковском регионе являются балтские элементы, обнаруживаемые в языках, распространенных ныне в Среднем Поволжье. Значительный лексический пласт балтизмов имеется и в мордовском и в марийском языках, на что обращали внимание многие языковеды, в том числе Б.А.Серебрянников и А.Йоки. Более надежно о балтской атрибуции населения именьковской культуры говорят балтские заимствования в чувашском и особенно в венгерском языке /Юки 1973, 296, 297/. Археология свидетельствует, что племена именьковской культуры тесно соприкасались и контактировали с носителями кушнаренковских древностей, которых можно отождествлять с венграми, кочевавшими между Камой и Уралом.

В начале средневековой поры контакты балтов с финно-угорским миром в значительной степени прервались в результате мощной славянской миграции, охватившей значительные области лесной полосы Восточной Европы. Лишь в Юго-Восточной Прибалтике часть прибалтийско-финских племен находилась в тесном взаимодействии с балтами.

Во второй половине I тыс. в Видземе имело место территориальное смешение ливов с балтами - латгалами и земгалами. С X в. ведущим этносом здесь становятся ливы. Развитие ремесел и оживленные торговые связи в низовьях Даугавы способствовали быстрому подъему жизни ливов, что привело к приросту населения. Ливский язык стал в Видземе доминирующим, а балтское меньшинство оказалось в значительной степени ассимилированным. В начале XIII в. территория даугавских и гауйских ливов стала ареной военных столкновений. С вторжением немецких феодалов численность ливов значительно сократилась, и в предевшие земли их начали переселяться латгалы, что привело в конце концов к постепенной ассимиляции прибалтийско-финского населения /Стубавс 1977, 50-54/.

Отдельной темой являются курско-ливские взаимоотношения в Курземе. До X-XI вв. в северных районах Курземе, судя по археологическим материалам, преобладало ливское население. С XI в. эти

земли становятся зоной внутрорегионального контакта местных ливов и расселявшихся здесь куршей. Результатом такого взаимодействия стала постепенная ассимиляция ливов /Мугуревич 1970, 21-38/.

В заключение хочу обратить внимание на неизученный пока вопрос о возможных балто-финских локальных контактах в условиях славянского освоения Русской равнины. Как известно, славяне, прежде чем попасть в северо-западные и северо-восточные земли будущей Руси, пересекли балтский ареал. При этом пришли в движение и какие-то группы балтского населения, вовлеченные в славянскую миграцию. Вместе со славянами они осваивали территории, заселенные финскими этносами и контактировали с различными прибалтийско-финскими и поволжско-финскими племенами.

Аристе П.А. Формирование прибалтийско-финских языков и древнейший период их развития // Вопросы этнической истории эстонского народа. Таллинн, 1956.

Моора Х.А. О древней территории расселения балтийских племен // Советская археология. 1958. № 2.

Мугуревич Э. Некоторые вопросы этнической истории Курземы в X-XIV вв. // Взаимосвязи балтов и прибалтийских финнов. Рига 1970.

Седов В.В. Рязанско-Окские могильники // Советская археология. 1966. № 4.

Седов В.В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. Москва 1970.

Серебрянников Б.А. О некоторых следах исчезнувшего индоевропейского языка в центре Европейской части СССР, близкого к балтийским // Труды Академии наук Литовской ССР. Серия А. 1957.

Стубавс А.Я. Некоторые аспекты этногенеза ливов и балтов // Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов. Рига 1977.

Халиков А.Х. К вопросу об этносе именьковских племен // Памятники первобытной эпохи в Волго-Камье. Казань 1988.

Joki A.J. Uralier und Indogermanen. Die ältere Berührung zwischen den uralischen und indogermanischen Sprachen. Helsinki 1973.

Sedov V.V. Zur ethnischen Geschichte der ostsee-finnischen Stämme // Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Turku 1980.

И. А. Л о з е (Рига)

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ В БАССЕЙНЕ ВЕРХНЕГО И СРЕДНЕГО
ТЕЧЕНИЯ ДАУГАВЫ И ДНЕСПРА В ЭПОХУ РАННЕЙ БРОНЗЫ /ПО
АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ/

Во время развернутых археологических исследований 60-х годов в Лубанской низине /Латвия/ впервые удалось найти культурный комплекс ранней бронзы – своеобразную группу керамики, получившей название лубанской. Этот комплекс был приравнен к статусу археологической культуры /Лозе 1979/. Генетические связи лубанской культуры восходят к пришлой культуре шнуровой керамики, а также к местной восточноприбалтийской позднеэнеолитической культуре. При выявлении генетических связей керамики лубанского типа использованы орнаментальные композиции обеих вышеуказанных групп керамики. Структура орнамента керамики лубанского типа отличается от стиля орнаментации, известного по обеим привлеченным здесь группам керамики. Эти различия проявляются главным образом в применении мотивов ромба и ромбовидной сетки. Среди ромбовидных мотивов орнамента на керамике лубанского типа выделяется т.н. точечный мотив ромба, символизирующий засеянное поле. Этот мотив широко известен на торсах женских глиняных фигурок культуры Триполье-Кукутени и других родственных культур, существовавших в Юго-Восточной Европе /Gimbutas 1974; Рыбаков 1981/.

Оригинальностью отличаются дугообразные узоры на роговых пластинках Лубанской низины, которые характерны для стиля орнаментации керамики северобелорусской культуры в бассейне верховья Даугавы /Северо-Западная Белоруссия и Псковская область/. Этот узор типичен также для шарообразных амфор, распространенных к югу от исследуемой территории на обширных пространствах Средней Европы. Этим узором обладает также керамика культуры Триполье /восточноприкарпатские и среднеднепровские регионы/, а также катакомбная культура /харьковско-воронежская группа/.

Лубанскую культуру ранней бронзы можно синхронизировать с поздним периодом северобелорусской культуры в районе правобережья, а также левобережья Даугавы /Зап. Двины/ - 1700-1300 лет

до н.э. В последней культуре имеются глиняные сосуды с дугообразной орнаментацией /Микляев 1969/.

При попытке отнесения лубанской и северобелорусской культур к определенной культурно-этнической общности следует признать родственные им культуры. Среди последних внимание заслуживает культура Марьяново, памятники которой изучены С.С. Березанской на Левобережной Украине, Полесье, на территории бассейнов рек Десны, Сейма и Сожа, а также на Правобережной Украине - в бассейне р. Припяти. Керамика марьяновской культуры сходна с керамикой лубанской и северобелорусской культур.

По поводу генезиса марьяновской культуры были высказаны разные доводы. Ее происхождение связывали с украинской культурой ямочно-гребенчатой керамики /Березанская 1982/, с синтезом нижних горизонтов среднего слоя поселений Михайловки и Лысой Горы близ Лубны /Телегин 1954/ и синтезом ямочно-гребенчатой или культуры Пивихи /Даниленко 1969/.

Марьяновская культура 18-15 вв. до н.э. в своем раннем этапе синхронна лубанской и северобелорусской. Предполагается, что эти культуры могли представлять одинаковую этнокультурную ситуацию.

Лубанская и северобелорусская, а также марьяновская культуры принадлежат к наследственному потоку культур шнуровой керамики. Присутствие гребенчатых элементов в орнаментации керамики этих культур не должно обязательно быть связанным с влиянием гребенчатой керамики, хронологически отделенной от них на тысячу лет. Эти элементы характерны и для сосудов фатьяновской культуры - крайне восточного крыла культур шнуровой керамики.

Марьяновская культура включена в поток культур шнуровой керамики, так как она представлена на тех же поселениях, где встречена среднеднепровская культура /Артеменко 1967/. Аналогичное явление наблюдается и на востоке Латвии, где лубанская керамика обнаружена лишь на поселениях со шнуровой керамикой /Дозе 1979/.

Иную ветвь культур эпохи ранней бронзы представляют культуры Польши, из которых одна, наиболее ранняя - Хлопиде-Веселе /Прикарпатье, Силезия, верховья Вислы, бассейн р. Сан/ близка к городцецко-здвоицкой культуре на Волине. Более поздние культуры - межановицкая, стжижовская - составляют западную ветвь культур эппшуровой керамики /Machnik 1977/.

Лубанская, северобелорусская и марьяновская культуры составляют восточную ветвь культур эпинуровой керамики. Эти культуры образовались на базе культур шнуровой керамики, ассимилируя некоторые элементы существовавших здесь ранее культур. Можно допустить мысль, что названная группа культур этнически была более или менее однородной.

В формировании лубанской культуры эпохи ранней бронзы участвовала пришедшая культура шнуровой керамики /суперстрат/, частично синтезируя элементы существовавшей до того восточноприбалтийской неолитической культуры /субстрат/.

Если носители культуры шнуровой керамики на территории Восточной Европы были первыми индоевропейцами, то тогда уже существовал определенный этнический массив с родственными языками, выделившийся из общности индоевропейских языков. Последним соответствуют определенные варианты культур шнуровой керамики /висло-неманская, среднеднепровская, верхнеднепровская, подольская, лубачевская, жуцевская, восточноприбалтийская и др./.

О том, что именно ЭТОТ этнический массив имел большее значение в формировании будущих культур, свидетельствует факт, что нельзя не признать основные позиции культурного потока шнуровой керамики в формировании последующих культур эпохи ранней бронзы. Учитывая большую степень дифференциации этих последних культур по сравнению с культурным массивом шнуровой керамики, можно допускать, что в эпоху ранней бронзы, к которой принадлежат лубанская, северобелорусская и марьяновская культуры, формировалась более многогранная этническая картина, постепенно разрушая большое родство языков, которое имело место во время существования различных вариантов культур шнуровой керамики. Еще более резко наметилось своеобразие культур в регионах Восточной Европы /лесная и лесостепная помосы/ и Средней Европы /Польша/, образуя группы культур /лубанская, северобелорусская и марьяновская, с одной стороны, и целых 7 культур, в том числе Хлопице-Веселе, - с другой/.

Если до сих пор археологи, рассматривая вопрос генезиса балтов в Восточной Прибалтике, очерчивали лишь двумя культурами - шнуровой и штрихованной керамики, то В.В. Седов культуру штрихованной керамики в период поздней бронзы /Латвия/ считал лишь частью культурных единиц, с которыми связано происхождение

балтов /Седов 1980/.

Вполне возможно, что именно в эпоху ранней бронзы, когда имели место такие кардинальные изменения в этнокультурной ситуации Восточной Европы, формировалась группа культур, внесшая свой вклад в образование балтов. Этот регион, по-видимому, включал в себя среднее течение и верховье Даугавы /Зап. Двины/, Верхний Днепр до Среднего Днестра, предположительно и Верхнюю Волгу.

Следует предполагать, что лубанская, северобелорусская и марьяновская культуры эпохи ранней бронзы образуют определенную группу диалектов балтов. Лингвисты приняли тезис, что 2-е тысячелетие до н.э. является временем формирования группы балтских языков и что в конце этого тысячелетия образовались три дифференцированные группы диалектов - западная, восточная и днепровская /Махлис 1964/. Археологи также вправе предполагать, что этим группам диалектов соответствовали культуры эпохи ранней бронзы, рассматриваемые в настоящее время в данном сообщении. Следовательно, днепровский или ему весьма близкий балтский диалект был распространен также в ареале северобелорусской и лубанской культур.

Наряду с культурой штрихованной керамики и другие культуры эпохи поздней бронзы - сосницкая, комаровская, тшенецкая и бондарихинская - также представляют интерес при изучении ранней этнической истории балтов.

Если сосницкая культура /бассейн Сейма, Десны, Припяти, Сожа/, как и марьяновская, генетически восходит к среднеднепровской /Артемченко 1987/ и дает основу вхновской и днепро-двинской культурам - носителям балтского этноса с днепровским диалектом /Седов 1985/, то следует ставить вопрос все же, с какими культурными единицами эпохи поздней бронзы и раннего железа следует связывать восточные и западные балтские диалекты. Здесь, однако, скрещиваются точки зрения относительно балтской и дославянской зоны /тшенецкая культура или комарово-тшенецкая этнокультурная область/. Вряд ли следует исключить из зоны распространения этноса балтов не только культуры Левобережной Украины /бассейны Десны и Сейма/, но частично и правобережные культуры /до Припяти/ /Верезанская 1972/. Если сосницкая культура, локализирующаяся в бассейне Верхнего и Среднего Днестра, является балтской /Ар-

теменко 1987/, то вряд ли стоит столь поспешно обрезать этот цикл развития культур.

Кажется вполне вероятным, что дубанская, северобелорусская и марьяновская культуры отражают сложнейший процесс ассимиляции носителями культур шнуrowой керамики бассейна р. Даугавы /Зап. Двины/ и среднего, а также верхнего течения Днепра местного, принадлежащего к культурам дошнуrowой керамики, населения.

Распространение культур эпохи бронзы, в том числе марьяновской, в зоне балтских гидронимов Днепра подчеркивает правоту подобного предположения. Следует допускать мысль о присутствии этнического единства прабалтов и во время бытования населения северобелорусской культуры в бассейне правобережья верхнего течения Даугавы, так как балтские гидронимы изучены также на псковских и новгородских землях /Агеева 1980/.

Согласно В.В. Седову /1985/ эти признаки свидетельствуют о процессах миграции балтов в районах среднего течения и верхья Днепра и Даугавы /Зап. Двины/. Эти процессы охватывали и более обширную территорию, захватывавшую и юго-восточное побережье Балтийского моря.

Более дробная дифференциация балтских гидронимов, сопоставление зон гидронимов восточных, западных и днепровских балтов с определенными археологическими культурами позволит выявить локализацию первичного расселения групп балтов, устанавливая максимальные границы бытования балтских культур и разрабатывая вопросы постепенного сужения ареала балтов.

Агеева Р.А. Гидронимы балтского происхождения на территории Псковских и Новгородских земель. - Этнографические и лингвистические аспекты этнической истории балтских народов. Рига 1980.

Артеменко И.И. Племена Верхнего и Среднего Поднепровья в эпоху бронзы. Москва 1967.

Артеменко И.И. Культуры позднего бронзового века южной полосы лесов европейской части СССР. - Эпоха бронзы лесной полосы СССР. Москва 1987.

Вережанская С.С. Средний период бронзового века в Северной Украине. Киев 1972.

Вережанская С.С. Северная Украина в эпоху бронзы. Киев 1982.

Даниленко В.Н. Неолит Украины. Киев 1969.

Лозе И.А. Поздний неолит и ранняя бронза Лубанской равнины. Рига 1979.

Мазалис В. Лингвистические заметки по балтийскому этносу. Москва 1964.

Микияев А.М. Памятники Усвятского микрорайона, Псковская область. - Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Выпуск 11. Ленинград 1969.

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. Москва 1981.

Седов В.В. Балты и славяне в древности /по данным археологии/. - Из древнейшей истории балтских народов /по данным археологии и антропологии/. Рига 1980.

Седов В.В. Днепровские балты. - Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Вильнюс 1985.

Телегін Д.Я. Неолітичні поселення лісостепного Лівобережжя і Полісся України. - Вісник АН УРСР, № 8. Киев 1954.

Gimbutas M. The Gods and Goddesses of Old Europe. 7000-3500 B.C. London 1974.

Machnik J. Frühbronzezeit Polens (Übersicht über die Kulturen und Kulturengruppen). Wrocław etc. 1977.

О ХАРАКТЕРЕ ДРЕВНЕЙШИХ БАЛТО-ФИННОУГОРСКИХ
КОНТАКТОВ ПО МАТЕРИАЛАМ ГИДРОНИМИИ

I. Любые культурно-языковые контакты представляют интерес как для истории контактирующих языков, так и для истории соответствующих этносов. В случае достаточной древности этих контактов их языковые и "надязыковые" результаты могут многое прояснить и в этногенетической проблематике. Случай балто-финноугорских отношений (далее: б. - балтийский, ф. - финноязычный, т.е. не угорский, ф.-уг. - финно-угорский) имеет и дополнительные основания для внимания со стороны исследователей. Два обстоятельства определяют важность обращения к этой проблематике прежде всего - установленный в последнее время факт бесспорного и очень значительного расширения сферы б. к востоку от Прибалтики и явная тенденция расширить (или переместить) уральскую прародину на запад от Урала - в сев.-вост. Европу, в пространство между Уралом и Средней Волгой и далее, вплоть до теории Д.Ласло (1961), который приурочивает прародину уральцев к территории между Окой и Прибалтикой. Иначе говоря, б. и ф.-уг. элементы в свете этих открытий или гипотез и их истолкований оказываются пространственно сближенными и, безусловно, взаимосвязанными, хотя неясность хронологических данных существенно препятствует выявлению конкретных форм этих связей. Самое важное новшество состоит, конечно, в том, что традиционная схема этнолингвистической истории всего этого ареала, и без того страдавшая некоторой упрощенностью (неизвестный не-и.-евр. язык - ф.-уг. - вост.-слав. /русск./, причем последовательность элементов понималась как совпадающая в принципе с хронологией соответствующих периодов), теперь должна быть дополнена новым элементом - балтийским (ранее контакты б. и ф. элементов обычно признавались лишь для Прибалтики и связывались конкретно с прибалт.-ф. и вост.-б. языками), а это коренным образом меняет всю эту схему.

II. При рассмотрении истории ф.-уг. комплекса в Вост. Европе необходимо теперь учитывать расширение б. сферы (как она восстанавливается по гидронимии) за счет среднеокского ареала (приблизительно от Калуги до Рязани, включая сюда и бассейн Москвы) с юга и западно-двинский и верхневолжский (приблизительно от границ Латвии до Твери и Дмитрова) с севера. В первом случае б. оказывается в непосредственном соседстве с территорией, занимавшейся мечерой и мордвой, во втором — мерей и отчасти, видимо, даже весью (ср. новейшие исследования о балтизмах в этих языках — Ткаченко, Римша и др.). Но специфика ситуации не в том, что, наконец и хотя бы в общих чертах, найдена б.-ф.-уг. граница в центре Вост. Европы (кстати, скорее найдена лишь та зона, за которой к востоку балтизмы становятся редкими и/или случайными), а как раз в противоположном — по обе стороны от этой границы или зоны несомненно присутствие и б. (к востоку) и ф. (к западу) элементов; еще конкретнее — надежных ф. элементов в б. ареале Вост. Европы намного больше, чем б. к востоку от б.-ф. границы. В данном случае особенно важно, что пространство к востоку от б.-ф. границы проницаемо для балтизмов (ср. Осьма, Восьма, Вобля, Блиденка, Дрисела, Дугна, Вепрея, Серена и т.п. в Нижнем Поочье), как и к северу от нее (ср. б. гидронимию вплоть до Новгорода и Валдая и даже "сумасшедшие" балтизмы на южном побережье Финского залива и на территории вплоть до оз. Белого и южного Приладожья, где живут вепсы, ср. книгу Агеевой). Если учесть, что балтизмы наличествуют (и число выявленных примеров увеличивается) не только в прибалт.-ф., но и в поволжско-ф. языках (и в последнем случае их нередко трудно объяснить как "wanderwörter" или даже как заимствования в пра-ф.-уг.), то неизбежно возникает проблема истолкования этой ситуации взаимопроникновения и взаимоналожения этих элементов, определения того, что субстрат и что суперстрат (кстати, при любом решении остается актуальным и аспект "адстратности").

III. Чтобы ответить на эти вопросы, имеющие ключевой

характер, необходима информация, которой сейчас наука не обладает (и поэтому самой настоятельной из деэидерат нужно считать составление атласа гидронимии всей этой части Вост. Европы, с преимущественным вниманием к не-слав. слою). Однако в свете вырисовывающейся в настоящее время б.-ф. перспективы имеет смысл обозначить как некоторые слабости и лакуны, так и кое-что из намечающихся тенденций в понимании этой проблемы. Несмотря на недостаточную изученность материала, очень приблизительные представления о структуре всего этого ареала (его дифференциация, изоглоссы и т.п.), неясность хронологии и проч., все-таки возможны некоторые заключения, предположения, гипотезы, и их смысл не только в подведении итогов на данном уровне знаний, но и в прогнозировании целесообразных подходов, которые могли бы привести к новым результатам уже на более высоком уровне знакомства с проблемой. Прежде всего приходится констатировать уже имеющую солидный возраст традицию объяснять все неизвестное в Средней, Вост. и Сев. России как "финское" наследие (мнение, проникшее и за пределы науки, - Ты, убогая финская Русь! или Чудь начудила, да Меря намерила и т.п.). Из этой установки вытекают два следствия - известный "пан-финнизм", не только преувеличивающий реальную (разумеется, очень значительную) роль ф. элемента, но и скрывающий или затушевывающий роль других этноязыковых элементов, и на этом фоне особенно разительная недооценка б. элемента в этноязыковом и культурно-историческом прошлом Вост. Европы. Именно поэтому, несмотря на ряд исследований, сопрягающих б. и ф. темы (правда, не всегда достаточно надежных и даже корректных по своим приемам и выводам), подлинная формулировка этой проблемы и вытекающие из ее решения результаты остаются скорее благими пожеланиями, нежели реальностью современной науки. И тем не менее существует одна бесспорная реальность - потребность в самоопределении науки перед лицом имеющегося материала и уже высказанных точек зрения в связи с его интерпретацией в этнолингвистическом плане (императив проблемы).

Следующие ниже соображения исходят из нескольких положений, представляющихся сейчас очевидными, — наличия языковых и культурных балтизмов в Среднем Поволжье (волжско-ф. традиции; проблема балтизмов в коми или в уг.; как и проблема обще-ф. /уральск./ балтизмов здесь не учитываются не по принципиальным соображениям, а потому, что в данном случае важнее найти ключ к проблеме, полагая, что в дальнейшем он откроет не только главную дверь, но и многие из второстепенных); — ареала б. гидронимии и состава ее элементов; — присутствия весьма правдоподобных б. следов в археологических культурах этой части Вост. Европы, начиная уже с III-II тысячел. до н.э. и, вероятно, до 2-ой полов. I тысяч. н.э. (связь с б. элементом далеко продвинутой на восток именьковской культуры IV-VIII вв. /Голиков и др./ остается спорной и уже вызвала некоторые возражения); — особенностей структуры самого б. пространства в Вост. Европе. При этом нужно иметь в виду и то, что не относится к самому материалу, но исключительно к истории его интерпретации в науке (ср. "ф.-б." спор за право считать "своими" такие гидронимы, как Ловать, Пола, Тосно, Цна, Нар/о/ва, Пейпус, Вашка, Вейна и т.п. и даже Волга, о чем см. в другом месте; в отдельных случаях в спор вступает и "слав." сторона).

IV. Общая идея может быть сформулирована в несколько заостренном и почти парадоксальном варианте обмена двух этих этнолингвистических элементов (б. и ф.) местами: балты пришли на свою "прибалт." родину с востока (и, значит, вторично) и встретили здесь на значительной территории прибалт.-ф. субстрат; финноязычные же народы пришли в Центр Вост. Европы с востока и встретили здесь балтов, язык которых стал для них субстратом. Хотя хронологические, а отчасти и пространственные рамки описываемой мены очень приблизительны, все-таки, видимо, трудно ошибиться, предположив, что между III и I тысячел. до н.э. (для отдельных мест и позже) б. и ф. были не только соседями, но во многих случаях жили попеременно на одной и той же территории, что приводило и к активным контактам — вплоть

до смешений (в обе стороны); существенно напомнить, что археологические данные свидетельствуют о двустороннем распространении этнокультурных элементов: с востока в Прибалтику и из Прибалтики на восток.

Тот факт, что балтизмы в ф. на несколько порядков больше, чем финнизмов в б., что балтизмы охватывают большую площадь и большее число языков, чем финнизмы в отношении б., что очень значительная часть балтизмов, судя по всему, относится уже к II тысячел. до н.э., а большинство финнизмов в б. (почти исключительно в вост.-б.) к существенно более поздней поре (хотя, конечно, очень показательны такие финнизмы, как лит. *lopšỹs* 'колыбель', *sóra* 'просо', ср. соответственно марийск. *леш* и морд. *сура*, *суро*), и т.п., — заставляет предполагать, что все это было возможно скорее в том случае, если основа субстрата была б., а ф. элемент появился здесь позже, в качестве суперстрата. Важным уточнением хронологического (а отчасти и пространственного) характера нужно признать то обстоятельство, что иранизмы в ф.-уг. древнее, чем балтизмы. Эта этнолингвистическая ситуация в южной части рассматриваемого ареала дает известные основания продолжить б.-иранскую зону контактов в ее западной части (по Сейму) к востоку, за Дон, в направлении к Волге. Представляется, что принятие б. элемента в Вост. Европе в качестве субстратного наиболее естественным образом объясняет и б. гидронимию к западу от Средней Волги и балтизмы в поволжско-ф. языках. Но есть и другие, более специализированные аргументы в пользу предлагаемой схемы.

Если вернуться к б. ареалу в Центре Вост. Европы как таковому, то выделяются две широтные полосы-пояса — южный и северный (условно по отношению к Москве). Первый из них (южный) характеризуется тем, что в нем ф. гидронимов очень мало, они случайны, не всегда достоверны и расположены на периферии этой зоны (на востоке и сев.-востоке, см. карту № 2 в кн. "Лингв. анал. гидр. Верхн.Поднепр."; расширение же этого пояса к востоку довольно резко уве-

личивает число ф. гидронимов). Второй пояс (северный) представляет совсем иную картину. Во-первых, ф. элемент в пределах б. ареала продвинут как доминирующий гораздо далее на запад (примерно на уровне меридиана Москвы, а чем севернее, тем далее к западу); во-вторых, он несравненно обильнее и надежнее, чем в южном поясе; в-третьих, наконец, он образует в целом почти сплошную цепь от Урала до Прибалтики с характерным разрежением на водоразделе верховьев Днепра, Волги и Зап.Двины и территории к северу от верхнего течения последней. Таким образом, этот "северный" пояс в значительной степени определяется результатами инфильтрации ф. элемента с востока, из района, где балтов заведомо никогда не было, на запад, где он вторгается в б.ареал. Что же касается "южного" пояса, то он гораздо более однороден, и его основная черта иная - он характеризуется наличием довольно устойчивых и достоверных изоглоссных связей восточной (Орл., Калуж., Тульск.) и западной (Прибалтика и смежные области России и Белоруссии, иногда с выходами в Озерный край) частями. Складывается впечатление, что в этом случае существенны не только отдельные б. изоглоссы типа "вост.-зап." (ср. Болва - Balvi, Крупела - Kraupeļi, Зуша - Zuši, Яуза - Aūzes, Auzāni, Унея - Auneja, Витебеть - Витьба, Выра - Выра и т.п.), но и такие, для которых главным является не столько их языковая принадлежность, сколько четкость и напряженность самих изоглосс, определяемые огромной дистанцией. Отчасти сюда принадлежит гидронимическая изоглосса Ловать с не вполне ясной языковой характеристикой названия. Но особенно интересна в этом отношении связь между названием области в вост. Литве в нач. I тысячел. - Nalšia (Нальшанская земля) - и названием двух рек в Нижнем Поочье, в густом ф. гидронимическом контексте, - Нальша. Независимо от того, б. это гидроним или ф. (ср. Нельша на мерянских землях, при *nele- 'глотать', см. Ткаченко, среди других рек со сходной мотивацией названия), сам факт этой "сверхдальней" связи не может быть упущен из вида, как и то обстоятельство, что этот пример не исключение и, следовательно, не может быть просто игрой случая.

Выявление таких фактов, относящихся к глубокой древности (при весьма слабой документации данных на этой территории или вовсе ее отсутствии), остается основным источником, позволяющим проникнуть в секреты структуры этой территории с точки зрения ее гидронимического инвентаря и его распределения. Но в других случаях б.-ф. контактов условия могут быть и существенно иными. Иногда при наличии документальных источников и языковых фактов, допускающих реконструкцию субстратных черт, возможны тонкие и точные наблюдения относительно того, какой б. элемент наслаивался на какой ф. (и наоборот), ср. исследование Брейдака по выявлению конкретного ф. субстрата латгало-селонских говоров в Вост. Латвии (ливский /"чудский"/, а не южно-эст. /угалск./). Еще одна категория случаев определяется ситуацией, помогающей выбрать наиболее удачную трактовку на основании знания "маршрутов" миграции языковых элементов и -часто - соответствующих этнических групп. Так, в течение веков и даже тысячелетий осуществляемые контакты между куршским побережьем Балтийского моря и юго-вост. его побережьем вплоть до Вислы (а нередко и далее, вплоть до Мекленбурга) с самого начала предлагают довольно строгие рамки для трактовки прусских гидронимов с корнем **Liv-* (*Lyva*, 1250 и др.) в устье Вислы, в которые укладываются многочисленные *Liv-* названия от Вислы до Эстонии (особенно в береговой полосе); характерно, что неподалеку от этой реки, в Миколайчиках, Окуличем недавно были обнаружены предметы с гребенчатой керамикой, связываемой традиционно с ф. элементом, который, как считают некоторые, на рубеже IV-III тыс. до н.э. появился на южном побережье Балтийского моря и распространился к западу вплоть до Одера и даже Шлезвиг-Гольштейна (ср., впрочем, возражения Удольфа и др.). Если это все-таки отражает некую реальность, то открывается еще один, самый западный, локус б.-ф. контактов, а все пространство их расширяется от Вислы или Одера до Оби. Конечно, это скорее "потенциальное" и "теоретическое" пространство, чем реальное и практическое, внутри которого как раз и должна решаться проблема б.-ф. связей - как на материале гидронимии, так и на основе всех других доступных фактов.

Leszek B e d n a r c z u k (Kraków)

BALTO-SLAVIC AND FINNO-UGRIC LINGUISTIC CONVERGENCES IN TYPOLOGICAL
AND AREAL ASPECTS

1. Correlation "front: back" (vowels) and "palatal:non-palatal" (consonants) leading to the symmetry of phonemic system.
2. Tendency to the phonetic accomodations within syllable (synharmony) and word (metaphony, vocalic harmony).
3. The simplicity of vocalism (the quality of vowels) and not complicated prosody, as opposed to developed consonantism (stops, affricates, spirants, sonorants differentiated by palatalization).
4. The tendency to agglutination resulting in abundance of formants and relational morphemes which caused the lengthening of the word.
5. The development of declension, as opposed to the simplicity of conjugation (aspects and manner of action in the function of tenses; small distinctness of moods, voices and persons in verb).
6. The nominal conception of a sentence (verbal and nominal predicate being little differentiated).
7. A considerable number of the participial formations and respective constructions, as well as impersonal expressions.
8. The dominance of co-ordination over subordination.

The above-mentioned structural features distinguish the Balto-Slavic languages from the Indo-European model and bring them closer to the Finno-Ugric one. They appear in the different degree in the respective languages and even dialects. Their greatest density takes place in the area of lake district between the Lower Vistula and Valdai. This permits us to assume the existence of certain kind of linguistic community which can be called a league of the South-Eastern Baltic Lake District.

БАЛТО-ФИННОУГОРСКО-СЛАВЯНСКО-БАЛКАНСКИЕ
ПРОСОДИЧЕСКИЕ СХОЖДЕНИЯ

1. Сходство просодических систем Севера Европы и зоны Балкан было отмечено еще Р.Якобсоном, выделившим два острова политонии в европейских рамках Евразийского союза, для которого в целом, по его концепции, характерна монотония. Позднее неоднократно выделялись просодические схождения в пределах Северноевропейской зоны, включая в нее и северные русские говоры, и финноугорские диалекты. В настоящее время целесообразно уже поставить вопрос более широко, рассмотрев четыре ареала: финноугорский, балтийский, балканский и не-балканские славянские языки. По каждому из этих ареалов всего накоплено достаточно данных для констатации просодических схождений. Внимательный дальнейший анализ перекрестных совпадений может стать отправной точкой для дальнейших диахронических интерпретаций.

Просодия слова. Ударение.

- 1) Схождение в виде политонического ударения наблюдается на уровне балтийском (литовский, латышский-?) и сербско-хорватско-словенского ареала.
- 2) Сходство по долготной преференции в выражении словесного ударения представлено в: финноугорских языках на территории СССР (кроме эстонского), в восточнославянских языках, в сербско-хорватском ареале, в новогреческом языке, отчасти — в румынском.
- 3) Значимые для словесной просодии вне пределов словесного ударения долготные показатели наблюдаются: в литовском языке, в эстонско-финской зоне, в чешско-словацко-словенской зоне, в сербско-хорватском ареале.
- 4) Долготная фигура, распространяющаяся более чем на один слог и подчиняющаяся правилу изохронии, отмечена в эстонском и словацком языках (см. ранее это же в древнегреческом языке).
- 5) Сходство по большой роли интенсивности в словесном

ударении и словесной просодии – болгарский язык, македонский язык, новогреческий язык, белорусский язык.

6) Сходство по роли частотных показателей в реализации словесного ударения – эстонский язык, литовский язык, западнославянские языки, румынский язык.

Просодия фразы. Восходящая мелодика.

1) Понижение мелодики в терминальной зоне общего вопроса: финно-угорские языки, южнославянские языки (частично), восточнославянские языки.

2) Абсолютное повышение мелодики в общем вопросе: литовский, западнославянские языки, румынский язык, новогреческий язык, словенский язык.

3) Повышение мелодики в конце специального вопроса – польский язык, белорусский язык, новогреческий язык.

2. Все указанные просодические схождения на самом деле выходят за пределы четырех сформулированных в заглавии зон. Так, по роли длительности в выражении словесного ударения языки Балкан соприкасаются с итальянским языком (возможно, унаследовавшим эту тенденцию от латинского); роль интенсивности в просодической схеме слова (повышающаяся к концу акцентная кривая) соотносит болгарский и новогреческий языки с турецкими и т.д.

3. Предварительно можно пока сделать только вывод о том, что в указанных четырех ареалах схождения в области просодии фразы укладываются в сферы географического контакта: зоны литовско-западнославянская; новогреческо-болгарско-турецкая; романско-румынская; восточнославянская – финноугорская.

Схождения в области просодии слова и словесного ударения не поддаются столь простой интерпретации и требуют привлечения многих аспектов знаний в сфере лингвистической диахронии. Различие в схождениях словесной и фразовой просодии связано, по нашей концепции, и с тем, что в истории языков фразовая просодия есть более позднее вторичное образование по сравнению с просодией слова.

Rainer E c k e r t (Berlin)

BALTO-SLAWISCH-FINNOUGRISCHE ENTSPRECHUNGEN
IM FACHWORTSCHATZ DER WALDIMKEREI

I. Unsere Untersuchungen zum Fachwortschatz der Waldimkerei (Eckert 1981) in den baltischen und slawischen Sprachen haben eine Reihe gemeinsamer, aber auch unterschiedlicher Züge in der Lexik und Phraseologie dieser Sprachen zu Tage gefördert. Die sprachlichen Widerspiegelungen dieses altertümlichen Wirtschaftszweiges, der sich in Osteuropa länger (in einigen Gebieten bis ins 20. Jahrhundert hinein) gehalten hat, sind besonders für das Baltische und Slawische gut bezeugt, ganz besonders wenn außer den Schriftsprachen die Dialekte und die Sprache der Folklore zur Analyse hinzugezogen wird. Auch ältere Sprachdenkmäler liefern wertvolle Aufschlüsse. In Mittel- und Westeuropa vollzog sich der Übergang von der Waldbienenwirtschaft zur Garten- und Hausbienenwirtschaft früher, die großen Waldmassive, die die natürlichen Bedingungen für diesen Wirtschaftszweig darstellten, wurden Jahrhunderte früher dezimiert und intensiver bewirtschaftet, was zu einem schnelleren Aussterben der Waldimkerei führte. So sind wir z.B. für das Deutsche fast ausschließlich auf historische Quellen aus dem Mittelalter angewiesen, wenn wir uns ein Bild über die Waldimkerei und den damit in Zusammenhang stehenden Fachwortschatz verschaffen wollen. Für das Polnische, Russische und Belorussische dagegen bewahren die Mundarten, die vor allem in den letzten hundert Jahren aufgezeichnet wurden, eine reiche Lexik und Phraseologie dieses Produktionszweiges. Die Hauptinformationen über die Terminologie der Waldimkerei für das Lettische sind in dem einzigartigen Liederschatz dieses Volkes erhalten (Eckert 1989), der erst seit K. Barons (1835-1923) in umfassender Weise gesammelt und fixiert worden ist. Somit ergaben sich für das Baltische und Slawische besonders gute Bedingungen zur Erforschung der Sprache, die mit diesem alten Produktionszweig verbunden ist.

Es handelt sich dabei nicht nur um die Bezeichnungen für die Haupttätigkeiten des Waldimkers, das Anlegen der Waldbienenstöcke (Beuten), das Kennzeichnen der Bienenbäume (anbringen von Zeidlermarken) und das Ausnehmen der Bienenbeuten, sondern

auch um die alten Namen für den Waldbienenstock (Eckert 1990) um die Bezeichnungen für die Vorrichtungen zum Ersteigen der Bienenbäume (Zeidlerstrick), um die Gefäße, in die der Waldbienenhonig eingebracht und in denen er aufbewahrt wurde, um den Namen des Zeidlersmessers etc. - alles Bezeichnungen der materiellen Kultur und Produktion - , sondern auch um eine sozial relevante Terminologie, denken wir nur an die verschiedenen Bezeichnungen für Honigabgaben und -tribut, für den Berufsstand der Waldimker (Эккерт 1981) und für solche gesellschaftlichen Institutionen wie die bičiulystė bei den Litauern und das sjabrovstvo bei den Ostslawen (Eckert 1989a). Wenn wir noch die mythologischen Vorstellungen über die Bienen bei den alten Völkern und ihre interessanten sprachlichen Reflexe (Топоров 1975) einbeziehen und die Verbindungen, die die alte Waldimker-Terminologie zu anderen Bereichen der materiellen und geistigen Kultur der Menschen in früher Zeit aufweist (z. B. zur Terminologie der Holzbearbeitung und zur Textilterminologie (Eckert 1986); zu Bereichen mythologischer, kosmischer (Eckert 1987) und poetischer Vorstellungen (Уоткинс 1988), dann ergibt sich, daß die historische Untersuchung des in der Überschrift erwähnten sprachlichen Ausschnittes keineswegs ein so schmales Spezialgebiet umfaßt, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint.

II. Der Fachwortschatz der Waldimkerei, die ja einen sehr altertümlichen Zweig der Volkswirtschaft darstellt, enthält eine beträchtliche Anzahl syntaktischer¹, lexikalischer² und phraseologischer Archaismen³. Untersuchungen zur historischen Lexikologie und Phraseologie sind daher gerade für diesen Bereich des Wortschatzes erfolgversprechend. Ein wertvolles Material liefern dabei nicht nur die mundartlichen Wörterbücher und folkloristischen Texte, sondern auch die altsprachlichen juristischen Denkmäler, ganz besonders Sammlungen und Artikel des Zeidlerrechts.

-
1. Vgl. z.B. den Akkusativ der Richtung in lit. bitės kópti 'Waldbienenhonig ausnehmen', siehe (Fraenkel 1928, 164; Schmalstieg 1988, 239-240).
 2. Vgl. z.B. ursl.dial. *olěka; *svepetā; *strědb.
 3. Vgl. z.B. russ.dial. lazit' pčel, altpoln. łazbić pszczoły, lit. kópti bitės, lett. kāpt bites, obersorb. džědźić pčol.

III. Der Wortschatz der Waldimkerei im Baltischen und Slawischen zeigt einige alte indoeuropäische Dialektbeziehungen der genannten Sprachzweige zum Italischen. Vgl.:

1. Lit. avilys 'Bienenstock, -korb, Bienenvolk', lett. aūlis 'aus Tannenrinde oder aus einem gefaulten Klotze gemachter Bienenstock zum Einfangen von Bienen': ursl. *uljb, *uljbb 'Bienenstock, -nest' (poln. ul, slowen. ulj, russ. bulg. ulej): lateinisch alv(e)arium 'Bienenkorb', alveus, -ī 'Höhlung, Bauch, Mulde, Wanne, Einbaum, Kahn, Nachen, Bienenkorb, Flußbett'.
2. Ursl. *b3rtb, -i (russ. bort', poln. barć, maked. brtva etc.): lat. forus 'Schiffsgänge zwischen den Ruderbänken, Gänge zwischen den Waben (apes complebunt foros), Spielbrett'.

IV. In einigen Fällen lassen sich exklusive baltisch-slawische Wortbzw. Phrasementsprechungen ermitteln:

1. Lit. geinys, geinis; lett. folkl. dzeinis, dzainis: ukr. dial. (Poles'je) žen', -i (žen', žyn'); russ. dial. žen', -i und mittlerrussisch ženb, -i 'Zeidlerstrick'.
2. Lett. folkl. dēt dori (dravu): poln. dial. dziać drzewo 'einen Waldbienenstock anlegen'.

V. Eine größere Anzahl von Beispielen bildet partielle (strukturellesemantische) Entsprechungen im Baltischen und Slawischen, an denen auch finnougriische Sprachen teilhaben. Vgl. z.B. russ. lazit' bort': lit. kopinėti drevės 'zeideln' (wörtlich: 'klettern Waldbienenstock') und die Herausbildung einer auf phraseologische Wendungen zurückgehenden Wortbedeutung im Falle altpoln. łazbić, russ. dial. lazit' sowie wotjakisch (udmurtisch) tubini - alle bedeuten 'zeideln', heißen aber eigentlich 'klettern', vgl. (Gauthiot 1910; Eckert 1968).

VI. Aus der Sicht des Vergleiches von Elementen des Wortschatzes der Waldimkerei im Baltischen, Slawischen und in den finnougriischen Sprachen sind folgende Fakten von Bedeutung:

1. Der Vergleich des indoeuropäischen Honignamens *med^[h]u- (ai. madhu-, gr. μέδου, ursl. *medz, lit. medūs, lett. mēdus, apr. meddo; altengl. meodu, ahd. metu etc.) mit finnougriischem *mete (ungar. mez, finn. mesi, mordw. med') 'Honig', wobei mit einer Entlehnung des finnougriischen Wortes aus dem Indoeuropäischen gerechnet wird (Гамкрелидзе, Иванов 1984, 611).

2. Aus altrussischen Quellen aus Murom sind spezielle Waldimker-

Termini bekannt, die nicht nur widerspiegelungen aus den Slawischen, sondern auch aus den finnougri-schen Idiomen dieses Gebietes darstellen können:

a) ... po mertvym remennaję plateniję drevolaznaję s nimi v zemlju pogrebajuščę (Povest' o vodvorenii christianstva v Murome);

b) In der "Povest' o Petre i Fevronii" (Petre war Fürst von Murom) kommt in den verschiedenen Abschriften das Wort drevolazbcy 'Waldimker', eigentlich 'Baumkletterer' vor.

3. In mittlerrussischen Quellen wird erwähnt, daß der qualitativ beste Honig Waldbienenhonig aus Mordowien war, vgl.

... Iz bortnych uchožeev medvenoj obrok velet' imat' z bortnikov i s Mordvy med samoj dobroj ulaznoj (1659), vgl.

Словарь русского языка XI-XVII вв.

Eckert R. Minimale Textfragmente im Slawischen und ihre Entsprechungen im Baltischen. Baltistica, IV (1). Vilnius 1968, S. 86-91.

Eckert R. Untersuchungen zur historischen Phraseologie und Lexikologie des Slawischen und Baltischen (Systemfragmente aus der Terminologie der Waldimkerei). Berlin 1981. (Linguistische Studien, Nr. 81).

Eckert R. Zur historischen Phraseologie der slawischen und baltischen Sprachen (Wendungen mit den Komponenten lett. dēt, darīt; ursl. *děti, *dělati 'machen'). - Acta Baltico-Slavica, XVII. Wrocław e.a. 1986, S. 103-116.

Eckert R. Zum Fachwortschatz der Waldimkerei im Ukrainischen. - Linguistische Arbeitsberichte, Nr. 50. Leipzig 1987, S. 78-84.

Eckert R. Ancient Bee-Keeping Terminology in Kr. Baron's Collection Latvju Dainas. - In: Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs. Ed. by V. Vīķis-Freibergs. Kingston - Montreal 1989, p. 148-156.

Eckert R. Die historische Schichtung des Fachwortschatzes der Waldimkerei im Baltischen und Slawischen. - Baltistica, XXV (1). Vilnius 1989(a), S. 6-23.

Eckert R. Zur baltischen Bezeichnung des Waldbienenstockes. - In: Symposium Balticum. Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Velta Rūķe-Dravina. Herausgegeben von B. Kangere und H. Rinholm. Hamburg 1990 (im Druck).

- Fraenkel E. Syntax der Litauischen Kasus. Kaunas 1928.
- Gauthiot R. Des noms de l'abeille et de la ruche en indo-européen et en finnoougrien. - Mémoires de la Société Linguistique de Paris, t. 16, Paris 1920. Fasc. 4, p. 264-279.
- Schmalstieg W.R. A Lithuanian Historical Syntax. Columbus (Ohio) 1988.
- Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. II. Тбилиси 1984.
- Топоров В.Н. К объяснению некоторых славянских слов мифологического характера в связи с возможными древними ближневосточными параллелями. - В кн.: Славянское и балканское языкознание. Проблемы интерференции и языковых контактов. Москва 1975, с. 3-49.
- Уоткинс К. Аспекты индоевропейской поэтики. - Новое в зарубежной лингвистике, вып. XXI: Новое в современной индоевропейистике. Москва, 1988, с. 451-473.
- Эккерт Р. К названиям борников в балтийских и славянских языках. - Балто-славянские исследования 1980. Москва, 1981, с. 107-112.

В известной статье "Об одной славяно-балто-финской изоглоссе" (Lietuvių kalbotyros klausimai, VI, 87-107) Б.А.Ларин, рассматривая конструкции с именительным прямого дополнения в финском, эстонском, русском, латышском и литовском языках, приводит некоторые материалы, свидетельствующие о том, что "пять-шесть веков назад эти конструкции были известны всем трем восточнославянским языкам как реликтовые". При этом "белорусскую документацию" составили найденные А.А.Потебней и Е.Ф.Карским несколько примеров из письменности XIV-XVI вв. (начиная с Грамоты вел.кн. Ягайлы 1387 г.: исправа ... чинить) и несколько цитат из фольклорных сборников.

В белорусской диалектологии этот оборот как будто не отмечен. Между тем он довольно часто встречается в говорах литовско-славянской контактной зоны - в языковой ситуации (билингвизм, конвергенция) старых литовских островов Гродненской и Витебской обл. Белоруссии. Преобладают случаи именительного с инфинитивом при предикативах, наречиях: замкнуць хата трэба; работа ў панядзелак няможна пачынаць, трудна спойсаць вавёрка (Пеляса); трэба капуста паліваць (Игнатюшки); именительный при зависимом инфинитиве: мога яна абымца карова даць (Пеляса); мелася бульба садзіць (Герваты); при инфинитиве в составе формы будущего времени: будзем скаціна прадаваць; при буд. времени, совпадающем по форме с инфинитивом: яны мне пакінуць норма (Пеляса); ср. и личное местоимение в этой конструкции: ці браць мне яна? (Складанцы).

Имена одуш. муж. р. как прямые дополнения при инфинитиве всегда в форме винит.=родит. падежа (каня запрагаць). Что касается множ. числа, то в связи с данной темой типологически представляет интерес широкий ареал белорусских говоров юго-западнее линии Лида - Дзержинск - Бобруйск - Гомель, где именительный прямого объекта при инфинитиве (как и при личных формах) характерен для всех категорий существительных: каровы пасвіць, коні паць и т.д.

Формально схожие с этой синтаксической конструкцией примеры из польских говоров Белоруссии и Литвы (woda nosić, muć podłoga) не связаны с указанной изоглоссой, т.к. здесь винит.=именит. по фонетическим причинам (утрата ринезма, аканье), ср. в личных формах переходных глаголов: woda nosił, muja podłoga; из автографа А.Мицкевича: "Ta woda widzę dokoła" (цит. по С.Урбанчику).

ALTAJISCH UND BALTO-SLAVISCH

Altajer, Uralier und Indogermanen in Raum und Zeit. Nachbarschaft von Balto-Slaven, Uraliern und Altajern. Altajische Einflüsse im Balto-Slavischen nur schwer feststellbar; in ganz überwiegender Zahl: türkisch; vor-türkische können ur-türkisch oder auch (ur-)altajisch sein. Die türkischen Einwirkungen betreffen fast nur noch das Slavische.

Problem der Scheidung zwischen Urverwandtschaft und Entlehnung (Kontaktwirkung).

Die Übereinstimmungen in Phonologie, Morphologie, Syntax und Lexikon. Ersteres und Letzteres hier kurz behandelt.

Phonologie. Grundsätzliche Opposition velar : palatal und ihr Reflex im Balto-Slavischen. Obwohl die drei slav. Palatalisationen der Velare k, g, x inner-idg. Entstehung sein können, ist ihre breite Entfaltung doch wohl unter dem Einfluss des Alt. und Ural. entstanden. Die Develarisierung von ɣ > i in den meisten alt. Sprachen - ausser dem Türkischen - und im Slavischen. Während im Türk. die Lautverbindungen qy, xy, xy erhalten bleiben, werden sie im Mong. zu ki, gi, xi mit Verlust der velaren Qualität des Konsonanten. Parallel hierzu werden im Alt-Russ. die Verbindungen ky, gy, xy > ki, gi, xi und zwar gleichzeitig mit der Entwicklung im Mong. Die spirantische Qualität des Alt-Kirchen-Slav. und Alt-Russ. g > ɣ, die sich im h des späteren Ukr., Weiss-Russ., Čech., Slovak. und Ober-Sorb. (Lužica) fortsetzt. - Die weitgehende "Verdampfung" der unbetonten Vokale und die Entwicklung von o > u im Neu-Ost-Bulg. ist deutlicher Einfluss aus den Qypčaq-Sprachen des Türk., beginnend mit Qomanisch und endend mit Noɣaj. Die Entwicklung des ɛ unter Accent in Position vor velaren Silben im Bulg. dürfte ebenfalls auf türk. Lautharmonie beruhen. Eindeutig lautharmonisch sind die assimilierten Formen im A.-K.-Slav. vom Typ ДѢВѢ < ДѢВѢ, МЪГЛА < МЪГЛА, ВЪНИДЕ < ВЪНИДЕ.

Morphologie. Das Altajische hat strikte Agglutination, keine Prae- und Infixa. Das Türk. und Mong. haben strikte Scheidung in Nominal- und Verbal-Suffixa, die weiter östlich weniger rigoros ist. Im Türk. fehlt die Entwicklung von Deklinations- und Konjugationsklassen, zu deren Entwicklung sich deutliche Ansätze im Tung.

wie dem Korean. und Japan. beobachten lassen. Diese Entwicklung deutet auch auf spätere Entstehung des flexivischen Typs wie im Idg. hin. Das nostr. Accusativ-Suffix -m findet sich im Balto-Slav. als Nasalierung des auslautenden Stammvokals vor, während er im Alt. im Suffix -ma/-ba/-wa des Gesamt-Tung. lebt. Hier liegt Urverwandtschaft vor, ebenso in den locativischen Restsuffixa -de im Slav., die im Türk. -da/-dä, Dravid. -du leben. Plurale bei Verwandtschaftsbezeichnungen sind im Slav. vielfach Collectiva, so auch im Alt-Türk. und Tung., daher wohl urverwandt, nostratisch; der Plural scheint ursprünglich auf einem *nomen collectivum* zu beruhen, cf. Idg. pl. der neutr. o-Stämme auf -a, in der griech. Syntax als Singulare behandelt, und die "gebrochenen" (mukassar) Plurale des Semit., vornehmlich des Arab., die syntaktisch sg. fem. sind. So wären die pl. coll. des Slav. höchst archaisch, eine Annahme, die gut zu der Tung. passt.

Auffällig ist im Slav. die relativ grosse Zahl der *Adjectiva indeclinabilia*, meist auf -b, auf deren Enthaltung die Nähe des Alt., in dem die adnominalen Nomina ("Adjectiva") keine Flexions-suffixa annehmen (mit gewissen Ausnahmen im Nord-Tung.) eingewirkt haben wird.

Die Komparation der *Adjectiva*, die im Idg. in einer späteren Phase entstanden sein muss, ist im Slav. unterentwickelt oder sekundär abgebaut: die benachbarten alt. Sprachen haben ebenfalls nur unterentwickelte Bildungen (wieder im Gegensatz zum Nord-Tung., wo relativ recente Bildungen, sogar mit Komparativ und Superlativ, vorliegen).

Das Numeralssystem ist im Alt. typologisch einheitlich, aber etymologisch heterogen, und daher muss es jeweils erst nach der Trennung in die 6 alt. Familien entstanden sein. Im Korean. und Japan. existieren neben den einheimischen noch die chinesischen Numeralia. Aus dem Türk. deutlich entlehnt ist das slav. Distributiv-(Collectiv-)Suffix -or, < Türk- -ar/-är gleicher Funktion. Idg. Parallelen fehlen.

Pronomina. Das pron. poss. relat. Slav. svoje wird wie im Alt. auch für die 1. und 2. Person verwendet. Für das pron. poss. steht im Alt. das Possessiv-Suffix.

Der Inklusivus : Exklusivus, der im Alt. wohl nie voll entwickelt war - vielleicht mit Ausnahme des Tung. - liegt im Türk. noch in Restformen vor, im Mong. beim pron. pers.; ebenfalls in Resten im Japan. Während die gewöhnliche Form die Bedeutung des

Exclusivus hat, wird der Inclusivus durch eine Kombination der Formen (Suffixa) der 1. und der 2. Person ausgedrückt, dies auch in nicht-nostr. Sprachen wie z.B. dem Kolaraischen (Mundā). Der Inclusivus liegt im Russ. z.B. in ПОЙДѐМТЕ "lasst uns (alle, zusammen) gehen!" vor. Da diese Bildungen nicht in engerer türk. und mong. Nachbarschaft des Slav., hauptsächlich des Russ., gebraucht werden, können sie lokaler Entstehung sein, wie z.B. die des Exclusivus im Romanischen: Span nos otros, Frz. nous autres.

Verba. Das slav., sogar balto-slav. Verbalsystem hat die einschneidendsten Einwirkungen seitens des Alt. erlitten. Diese haben sich in einem rigorosen Abbau der slavischen Verbal-Morphologie bis auf gewisse Reste ausgewirkt. Verschwunden sind die Formen für die genera verbi ausser dem Activum, die meisten Idg. Tempora ausser Praesens und Aorist, die ebenfalls noch nach der ältesten Literaturperiode zu verfallen beginnen, oder in einzelnen Sprachen wie den öst- und west-slav., bereits ausgestorben sind. Die praeteritalen Formen werden durch das part. prt. act. auf -l-ъ plus Copula, die das Possessiv-Suffix beim Nomen perfecti (Praeteriti) des Alt. vertritt, ausgedrückt. Die Copula ist in den modernen Sprachen meist schon geschwunden. Ein Futurum ist in statu nascendi abgestorben. Es wird, wenn es definitiv (später > perfectiv) ist, durch das Praesens von perfectiven oder perfectivierten Verbalstämmen ersetzt. Von den Modi sind der Conjunctivus (Subjunctivus), da es im Alt. keine grammatische Subordination, sondern nur Coordination, gibt und der Optativus, der z.T. in den Imperativus übernommen wurde, aufgegeben worden. Als finite Verbalformen haben sich nur das Praesens und der Imperativ gehalten. Letzterer ist, wie im Alt., an kein Tempus gebunden, und ist formell der imp. praes. Die Entstehung resp. spätere Existenz periphrastischer Formen, in Praeteritum und Futurum des imperfectiven Verbum, ist nicht beeinträchtigt worden. Als rein konjugierte Form überlebt heute nur noch das alte Praesens, im Bulg. und relikthhaft im Serbo-Kroat. der Aorist und das Imperfectum. Mediale und passivische Formen können nur periphrastisch durch Zuhilfenahme von se (pron. poss. refl., acc. sg.) und die beiden passiven Participia, praesentis und perfecti, wiedergegeben werden. Diese alt. Einflüsse haben im (Balto-)Slav. andere Formen des sprachlichen Denkprocesses hervorgebracht: die Tempora sind dort eigentlich Aspekte resp. Aktionsarten in possessiver Beziehung zu den Personen der Handlung oder des Zustandes. Das (Balto-)Slav. wird damit in eine frü-

here Entwicklungsphase versetzt, die der der Anschauung von Zeitstufen, Tempora, voranging, wie sie auch für das Ur-Idg. angenommen werden kann. Das aus dem part. prt. act. auf -l-l + Copula gebildete Praeteritum des verbum finitum entspricht somit genau dem alt. Praeteritum, Türk. auf -t + Possessiv-Suffix. Das slav. Praeteritum, als idg. Form, unterscheidet Masc., Fem. (und Neutr.) und ist damit eine finite idg. Verbalform, die das Genus unterscheidet, - was sonst nur für das Ham.-Sem. typisch ist.

Im Alt. werden die den idg. genera verbi entsprechenden Formen wie auch die für Iterativ, Causativ, Cooperativ, Inchoativ (Ingressiv) etc. morphologisch gleichmässig durch Verbalstammsuffixa ausgedrückt. An diese schliessen sich dann die Suffixa für die nomina verbalia "temporis" (aspectus) und die Person an. Ein schwieriges Kapitel der Nominalmorphologie ist die Frage nach dem Ursprung der komponierten Deklination des bestimmten Adjektivs im Balto-Slav. Es handelt sich hier um das in Kongruenz gebrauchte, aber enklitische pron. pers. 3. sg., das in historischer Zeit zu einem Suffix geworden ist. Kurz gesagt, dürfte es sich hierbei, da diese Komposition im Balto-Slav. die Bedeutung eines bestimmten, definiten Ausdrucks hat, um eine der alt. Possessivsuffixierung analoge Bildung handeln, wo das Poss.-Suff. 3. pers. ebenfalls nicht nur possessivische, sondern auch determinierende, definitive Funktion hat.

Syntax. Während die Satzgliederfolge im Idg., Subjekt - Praedikat - Objekt mit Variationen, wobei der Subjekt am Anfang des Satzes steht, und Subjekt - Objekt - Praedikat ohne Veränderung, ausser in dem durch seinen morphologischen Reichtum freieren Tung., die syntaktische Grundregel für alle alt. Sprachen geblieben ist, lassen sich im Slav. einige Einwirkungen aus der alt. Syntax feststellen. Das Alt. hat strikte Rectum-Regens-Konstruktion, der entsprechend die Voranstellung von Adjectiva und coordinierter Satzteile die Regel ist, Verhältnisse, die sich auch in idg. Sprachen finden, aber nicht die Regel sind. Genitiv-Voranstellung lässt sich in den griechisch abgefassten proto-bulgarischen Inschriften feststellen, wo sie alt.-(türk.-)bulgarischem Vorbild folgen. In den älteren, meist kirchenslav. Texten lässt sich allgemein eine starke Tendenz zur nominalen (participialen, gerundialen) Konstruktion an Stelle von typisch-idg. konjunktionalen Nebensätzen beobachten, welche durch das Vorbild alt. Satzgliederungen angeregt ist. Parallel dazu fällt die geringe Anzahl slav. Konjunktionen

auf, ebenso wie das Fehlen des modus subjunctivus und das alten idg. pronomen relativum, das durch eine späte Bildung, jb-že, ja-že, je-že ersetzt ist. Im Tempus- resp. Aspektgebrauch findet sich gelegentlich das perfektive Futurum in der Funktion des Praesens definitum, wie im Alt. Diese für das Alt. und Ural. typische Scheidung in bestimmte (definite) und unbestimmte (indefinite) Formen in gewissen grammatischen Kategorien (z.B. dem Praedikat) lässt sich im Gebrauch des Partitivs (oft, im Idg. immer) in der Form des Genitivs beim negierten Objekt wie der Bevorzugung imperfektiver Verbalformen beim negierten Praedikat feststellen. Es liegen im Alt., wie auch im Ural., partitive Vorstellungen vor, gemäss denen ein negiertes Objekt keine Ganzheit, kein ganzes Objekt, und eine negierte Handlung keine ganze Handlung ist resp. als solche gedacht wird.

Als ganz recente Entwicklung auf syntaktischem Gebiet lässt sich in den alt. Sprachen der UdSSR, besonders der türk., die Tendenz zum Gebrauch der grammatischen Unterordnung, meist mit Hilfe des den gleichen Zwecken im Čağatajischen, Osmanischen, Özbekischen und anderen gerade vom Persischen stark beeinflussten Sprachen dienenden pers. ki beobachten, ohne dass sich dabei - im Gegensatz zum Osmanischen und Čağatajischen - auch der Gebrauch einer Verbalform als Subjunctivus entwickelte. Ebenso fällt die Wendung vom Typ dedi o = КАЗАМ ОН, die eine oratio recta einleitet, auf, die sich vorwiegend in der Übersetzungsliteratur findet. Die letztere Wendung lässt sich auch im Neu-Osmanischen feststellen, wo sie auf westlich-idg. Einfluss beruht.

Wortschatz. Da dem Wortschatz seit längerer Zeit viel grössere Aufmerksamkeit geschenkt wird, gehe ich hier nicht auf ihn ein.

ДРЕВНЕЙШИЕ БАЛТО-ФИННО-УТОРСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ИСТОРИИ БАЛТИЙСКОГО ВОКАЛИЗМА

1. Одна ветвь балтов в конце третьего тысячелетия до нашей эры (2300–2000 гг.) с исходной территории (теперешней южной Латвии, Литвы, северной и центральной Белоруссии и северо-восточной Польши) распространилась в северной Латвии, Эстонии и юго-западной Финляндии и значительно повлияла на прибалтийско-финское население этого региона. Севернее реки Даугавы балтийский этнический компонент был ассимилирован прибалтийско-финским этническим компонентом. Однако севернобалтийская культура и севернобалтийский идиом не исчезли бесследно, они оставили свои следы в материальной и духовной культуре и языках прибалтийско-финских народов. Из севернобалтийского идиома в прибалтийско-финский праязык проникло большое количество балтийских слов (Мейландер 1982, 11, 25–26; Карпелан 1982, 34–39; Валонен 1982, 60; Аристе 1956, 12).

Лексические балтизмы в волжско-финских языках лингвистам были давно известны. Однако до недавнего времени не было рационального объяснения этому явлению. Только в последнее время усилиями археологов и антропологов было выяснено, что Фатьяновская культура, существовавшая в Волго-Окском междуречье в первой половине второго тысячелетия до нашей эры, была балтийской. Носители этой культуры в конце третьего тысячелетия и в начале второго тысячелетия до нашей эры с исходной территории (теперешней южной Латвии, Литвы, Белоруссии, Верхнего и Среднего Приднепровья) начали движение в северо-восточном направлении и достигли Волго-Окского междуречья. Фатьяновцы вступили в контакты (не всегда мирные) с прибывшими с востока волжско-финскими племенами. Фатьяновцы частично были истреблены, частично ассимилированы этими племенами. Но Фатьяновская культура и северо-восточнобалтийский идиом не исчезли бесследно, они оставили свои следы в материальной и духовной культуре и языках волжско-финских народов (Крайнов 1972, 239–272).

2. Лексические заимствования имеют большое значение для выяснения разных вопросов сравнительно-исторической грамматики

(особенно вопросов сравнительно-исторической фонетики). Исследование фонетических особенностей лексических балтизмов финно-угорских языков важно для сравнительно-исторической фонетики балтийских языков потому, что древнейший слой этих заимствований относится к далекому прошлому. Поэтому а priori можно ожидать, что в этих заимствованиях как бы законсервировались и такие фонетические особенности общеприбалтийского состояния, которые в живых балтийских языках частично или полностью исчезли.

Древнейшие лексические балтизмы прибалтийско-финских языков как бы законсервировали фонетические особенности севернобалтийского идиома в конце третьего тысячелетия до нашей эры. Так как в истории балтийского вокализма спорным является вопрос о качестве общеприбалтийских рефлексов индоевропейских гласных *o, *a, *ā, а в прибалтийско-финском языке, вступившем в контакт с севернобалтийским идиомом, наличествовали корреляции гласных *ō - *ā и *o - *a в подударных слогах и корреляция гласных *o - *a в безударных слогах, то древнейшие лексические балтизмы прибалтийско-финских языков являются ценнейшим материалом для изучения истории балтийского вокализма, ибо дают неопровержимые и точные свидетельства о качестве севернобалтийских рефлексов индоевропейских гласных *o, *a, *ā в конце третьего тысячелетия до нашей эры.

Так как в волжско-финских языках наличествует корреляция кратких гласных o - a как в подударных, так и безударных слогах (долгие гласные в этих языках отсутствуют), то лексические балтизмы мордовского и марийского языков являются ценным материалом для изучения истории балтийского вокализма и дают сведения о качестве северо-восточнобалтийских рефлексов индоевропейских гласных *o, *a, *ā в первой половине второго тысячелетия до нашей эры. Однако в связи с тем, что балтизмов в волжско-финских языках меньше, чем в прибалтийско-финских языках, и вопросы фонетических особенностей этих балтизмов не разработаны с точки зрения исторической фонетики мордовского и марийского языков, то не всегда ясны условия дистрибуции гласных o - a в балтизмах волжско-финских языков, а следовательно и долгих гласных *ō - *ā и кратких гласных *o - *a в северо-восточнобалтийском идиоме. Поэтому возможности использования лексических балтизмов волжско-финских языков для разработки некоторых вопросов истории балтийского вокализма пока гораздо меньше, чем возможности использования лексических балтизмов прибалтийско-

финских языков.

На основе фонетических особенностей лексических балтизмов прибалтийско-финских и волжско-финских языков в данном докладе рассмотрены два вопроса балтийского вокализма: 1) качество балтийского рефлекса и.-е. гласных **o*, **a* и 2) качество балтийских рефлексов и.-е. гласного **a*.

3. В балтизмах прибалтийско-финских языков наличествует как гласный *o*, так и гласный *a*, соответствующие гласному а литовского и латышского литературных языков, напр. фин. *ortsi* (*orte-*) 'матка' (ср. лит. *aĩdas* 'жердь в овине, на которую вешают снопы для просушки'), фин. *malka* 'шест для закрепления берестяной крыши' (ср. лтш. *maĩka* 'дрова'). Доказано, что все прибалтийско-финские заимствования из севернобалтийского идиома, в которых обнаруживаем гласный *o* и дифтонги *oi*, *ou*, относятся к древнейшему периоду севернобалтийских и прибалтийско-финских контактов. Только в более поздних прибалтийско-финских заимствованиях из севернобалтийского уже появляются гласный *a* и дифтонги *ai*, *au* как рефлексы позднесевернобалтийских **a*, **ai*, **au* (Steinitz 1965, 300-303; Breidaks 1975, 90-95).

4. Во всех случаях в корнях балтизмов прибалтийско-финских языков сохранился рефлекс севернобалтийского гласного **õ* (< и.-е. **a*) - гласный *õ*¹ (> фин., карел. *uo*), напр. фин. *vuota* 'шкура' (ср. лит. *õda* 'кожа', лтш. *ãda* то же).

Севернобалтийские окончания именительного падежа единственного числа имен существительных с основой на **a* в прибалтийско-финских заимствованиях дали два рефлекса *-o* и *-a*, напр. фин. *hako* 'ветка хвойного дерева' (ср. лит. *šakà* 'ветвь'), фин. *putro*, *puuro* 'каша' (ср. лит. *putrà* 'похлебка'), фин. *halla* 'заморозок, иней' (ср. лит. *šalnà* 'заморозки'). Дистрибуция конечных гласных *-o* и *-a* в балтизмах прибалтийско-финских языков является отображением дистрибуции севернобалтийских окончаний **-õ*, **-o* (< **-a*), **-a* (Nieminen 1934, 38-64; Илич-Свитыч 1964, 19-21; Breidaks 1975, 96-98; Брейдак 1980, 77-78).

Балтийские долгие гласные **õ* (< и.-е. **a*) и **õ* (< и.-е. **o*) в балтизмах прибалтийско-финских и волжско-финских языков

¹ Долгому гласному *õ* в эстонском языке спорадически соответствует и краткий гласный *o*, а в вепсском языке все долгие гласные первых слогов сокращены, следовательно, вместо долгого *õ* в этом языке наличествует краткий *o*.

дали одинаковые рефлексy. В первом слоге балтизмов прибалтийско-финского праязыка севернобалтийские долгие гласные *ō и *ō̄ всегда переданы долгим гласным *ō (> фин., карел. uo), напр. фин. vuohi 'коза' (ср. др.-прус. wosee 'коза') и фин. nuode 'шурин; деверь; муж сестры; свояк' (ср. лтш. диал. znuõtis 'зять; муж сестры'). В первом слоге балтизмов волжско-финских языков северо-восточнобалтийские долгие гласные *ō и *ō̄ дали один рефлекс - гласный о, напр. морд. коз 'кашель' (ср. лтш. диал. kðss 'кашель', лит. kosulỹs то же) и морд. соц 'сажа' (ср. лит. suodũs 'сажа', лтш. subdrẽji то же).

В непервом слоге балтизмов прибалтийско-финских языков севернобалтийские долгие гласные *ō и *ō̄ также переданы одним звуком - кратким гласным о, напр. фин. *vuojo 'Готланд' в слове vuojolainen 'готландец' (ср. лит. Vokia 'Германия') и фин. Vuojon-maa 'Эланд' (< сев.-балт. *võkiõn *zeme, ср. лит. vokiõ žẽmẽ 'Германия'). В непервом слоге балтизмов волжско-финских языков северо-восточнобалтийские долгие гласные *ō и *ō̄ также дали один рефлекс - краткий гласный о, напр. морд. мукуро 'зад' (ср. лтш. диал. mugora 'спина') и морд. сазор 'сестра' (ср. лит. sesuõ 'сестра').

Так как в прибалтийско-финских языках наличествуют корреляции гласных а - õ (только в первых слогах) и а - о, а в волжско-финских языках корреляция гласных а - о, то приведенные примеры балтизмов в финно-угорских языках, в которых отражена конвергенция севернобалтийских и северо-восточнобалтийских долгих гласных *ō и *ō̄ в один звук - гласный õ или о, несомненно свидетельствуют в пользу предположения, что индоевропейский долгий гласный *ā в балтийском праязыке развился в долгий открытый гласный *ō (Брейдак 1983, 46-47).

На то, что среднелатышский долгий гласный ā, который обычно считается продолжением индоевропейского долгого гласного *ā, развился из долгого открытого гласного *ō, указывают фонетические особенности некоторых латышских заимствований из прибалтийско-финских языков. Так, например, в заимствованном этнониме *sams* 'прибалтийский финн: лив, эстонец, финн' долгий гласный ā развился из прибалтийско-финского долгого гласного *ō (Брейдак 1977, 13-16).

Аристе П.А. Формирование прибалтийско-финских языков и древнейший период их развития // Вопросы этнической истории эс-

тонского народа. Таллин, Эстонское гос. изд-ство, 1956.

Брейдак А.Б. К этимологии этнонима *vāms* // *Lingua Posnaniensis*. 1977. Т.20.

Брейдак А.Б. Из истории балтийского вокализма // *Lingua Posnaniensis*. 1980. Т.23.

Брейдак А.Б. Некоторые данные балтизмов финно-угорских языков для истории балтийского вокализма // *Baltistica*. 1983. Т.19(1).

Валонен Н. Ранние лопарско-финские контакты. Из этнической истории финских племен // *Финно-угорский сборник: Антропология. Археология. Этнография*. М., Наука, 1982.

Иллич-Свитич В.М. Следы исчезнувших балтийских акцентуационных систем // *Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР*. 1964. Т.41.

Карпелан К. Ранняя этническая история савмов // *Финно-угорский сборник: Антропология. Археология. Этнография*. М., Наука, 1982.

Крайнов Д.А. Древнейшая история Волго-Окского междуречья: Фатьяновская культура (II тысячелетие до н.э.). М.: Наука, 1972.



Мейландер К. Финны - часть населения северо-востока Европы // *Финно-угорский сборник: Антропология. Археология. Этнография*. М., Наука, 1982.




















































Breidaks A. Baltijas somu valodu dati baltu vokālisma vēsturei // *Latvijas PSR ZA Vēstis*. 1975. Nr.4.

Nieminen E. Der Stammaslaut der ins Urfinnische entlehnten baltischen ā-Feminina und die Herkunftsfrage // *Finnisch-ugrische Forschungen*. 1934. Bd.22.

Steinitz W. Zur Periodisierung der alten baltischen Lehnwörter im Ostsee-finnischen // *Symbae linguisticae in honorem Georgii Kuryłowicz*. Wrocław etc., 1965.

FINNISH AS A MISSING LINK IN THE BALTO-SLAVIC LEXICON

As is well known, the PIE root *g^when- 'beat (down upon)' took on the semantics of both 'beat' and 'drive' in Balto-Slavic, sharing the latter to a degree with *weǵh- 'move'. The driving root, *ag-, so richly attested elsewhere, seems to be totally lost, but its semantic spectrum is roughly matched by gin-ti/giñti and gnat' (Lithuanian, Russian, and Finnish stand in for Baltic, Slavic, and Baltic Finnic respectively). The Baltic ablaut grades gin-/gen-/gan-/gon- have been expanded with gyn-/gun-/gui-(n-)/gein-/gain- giving us ample material for an attempt to see whether it might have a connection with Finnish clusterings around kina/keno, etc. The table below (based on the SMSA = The Archives of the Dictionary of Finnish Dialects, Helsinki) contains the evidence in outline. The MS for the 2nd ed. of the Etym. Dict. of Finnish (as of Aug.'89) lists kina 3EF (also 'thin ice'), and doubts a link with 3J, whose possible Baltic origin (Kalima 1936, 117-118) is mentioned. Sola (1970, 53) thought that the whole gamut reflects native homophony, and Pohjala (1969, 60) surmised that kinos 6D is inherited. Nikkilä (1983, 117-122) proposed a Germanic origin for 2 ABG and 4-5A, viz. *kenw-/kenu 'cheek' (his items are marked with , Kalima's ). This fits the boat bow context, but it just skirts the edge of the evidence, i.e., Cols. 9-11 are left out. Let us now look closer into the evidence, starting with D:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	kena	keno	kina	kino	kīnu	kinos	kines	kine	kanas	kuona	kuono		
A. <i>roen/veneem</i> <i>keula/varnas</i>												<i>sleigh/boat</i> <i>bow</i> .A	
B. <i>vino/viisto</i>												<i>slanted/</i> <i>tilted</i> .B	
C. <i>kiila</i>												<i>wedge</i> .C	
D. <i>nietos/ajoo</i>													<i>snowdrift</i> .D
E. <i>seitti</i>													<i>cobweb</i> .E
F. <i>lima/kuola/</i> <i>erite</i>												<i>slime/drivel</i> <i>secretion</i> .F	
G. <i>korkea/var-</i> <i>teva/suora</i>												<i>high/slender</i> .G	
H. <i>kuljettaa/</i> <i>laahata</i>												<i>transport/</i> <i>drag</i> .H	
I. <i>tinkää/</i> <i>kerjätä</i>												<i>bargain/beg</i> .I	
J. <i>riita/viha</i>												<i>quarrel/</i> <i>hatred</i> .J	
K. <i>hakea/</i> <i>etsiä</i>												<i>seek</i> .K	

D. The glosses contain 'driving' in both Finnish and English (there is also ajotus 'D'; Pohjala 1969, 57). Fi. aja- 'drive' is an early borrowing of PIE *ag-, and serves as a handy typological check on the meaning. The forms kin- : gin- fit together perfectly.

E. Cobwebs are just a special case of the secretions in F, easily tangled up in nature, and we see the contextual reason for the connection. 10E now provides the shape kuona, which would match góna 'herd' and (also in meaning) gón-yti 'defile'. (Dented boxes indicate transferred meaning, e.g. 7E 'weak' and 8E 'tangled string, thin ribbon; just a bit' [beyond 'cobweb'].)

F. This is the context that led me to suspect an underlying driving term. English ache/ake gets strong support from German dialects in the meanings 'fester, hurt': acken/äken/äcken/ekken/eken/aeken (and corresponding nouns Ake/A[a]k/Ä[ä]k/Eek/Eck) (Anttila 1986). The same noun lurks also in Fi. äkämä 'blister, boil, tumor', but more generally, aja- provides rich parallels (with 14 additional derivatives in 'swelling' meanings, plus 10 words for driving out sweat, etc.; SMSK, I). Other Finnish and Swedish 'driving' items support this (viedä, köra).

Homeric ázēi, usually glossed 'with dust', could as well be 'mould'. There is actually no difference in F, since kuona designates the iron dust that collects at the anvil (cf. 4F tomukino 'dust k.'). In Mod. Gk áza 'dryness, heat; ashes, bitter taste (cf. Fi. äkä); dust of charcoal, chaff' matches F quite well, and there are other forms (not fully understood), e.g. azagiá 'soot, ashes, dust; cobweb', or even 'spider' (cf. E). I reconstruct *ag-yā for this, and it is obviously cognate with the pre-Germanic *ag-yo-, etc. Note also kinata 'ache, bother' (Sola 1970, 54).

Kanas 'mould on beer' (and many other kan- forms) would match Lith. gan- (with shepherding meanings), whereas gónyti fits kuona and kuonaila 'complain about the food, refuse to eat' in both form and meaning. Secretion and driving out meaning is clear in Ru. gnoj 'pus' and the distilling context (gnat', vý-gonka, peregónka).

G. The most direct evidence for this row is Ru. gónkij (with zero grade that does not fit the Finnish) with the meanings 'golenastnyj, prjamoj, vysokij'. This provides the best frame for Est. kena 'fine, pretty, fair, shapely'.

H. No special comment is necessary. The meanings fit hauling situations.

I. The best parallel comes from Gk agúrtēs 'beggar' (built on *ag-r- 'drive' > 'gather'). The meaning approaches Ru. gonobit' and (s) gonošit' 'save, gather'.

J. We reach the spot where Baltic origin has been proposed, giñcias 'altercation, quarrel, prohibitor, defender' (and giñcyti 'fight, contradict, etc.'). Finnish has no hint of the -t-, and hence it would be better to cite ginti/ginù/gýniau 'protect, defend, warn, drive out, deny' (~ ginti 'drive'). The closest

attested form for kina would be gynà 'who defends oneself', but the disparity in length is disquieting. Meanings like 'rebuke, reproach' are attested also in Slavic: Ru. nagonjáj, pogónka, Ocz. hana, hańba; cf. also gnat' 'persecute' (and Fi. äkä 'hatred, defiance, anger').

The strong (battue-)beating and hunting contexts belong here, e.g. góniotti, gunióti, gáiniotti; gónčaja, pognát', zagónščik. Russian matches also the racing contexts, e.g. gónki = ajot: bégat' naperegonkí 'run foot races', bežát' s kem v gon 'race somebody'; cf. kinanjuoksu 'kilpa, race' and oikein kinam pääl 'kilpaa' (Sola 1970, 42).

Expressive modification is likely in känä 'slight quarrel'; cf. also istua kónöttää (2G).

K. The base in kuonata is identical to E, and the meaning 'scent, sniff' makes it a clear hunting term (to drive after); kuonaella 'have an eye on ... with interest' is not far off (cf. äkä 'eagerness'). Again, kuona- matches gon- in góniotti 'hunt, persecute', but other meanings come closer to the latter also in Finnish: kuonuttaa (-nn-) 'soften, make tired, exhaust (ajaa [!] uuvuksiin), but also tr. 'slowly wake up = herätellä (= ajaa!)'. Kinua (6) kuitiks 'get exhausted (of a nursing ewe)' has a similar timbre. Kuontua 'wake up, come to, etc.; get out of bed; bend' and Est. koondada 'bend, give shape' must also be considered here, since we start out with reasonable driving semantics and end up with something like podognát' and prignát' in their fitting and adjusting readings. Here belongs also Liv. kùondā 'speak, announce, warn'; cf. Est. vene keelt ajama 'drive the Russian language = speak Russian', an idiom known also in Finnish dialects. We would need vowel syncope before the verb-forming suffix -ta-: *koonā-ta- (cf. Koivulehto 1989, 6-7).

Back to 10-11A-C. A wedge-like meaning for kuona/kuono 'snout, muzzle' (Est. koon) fits in well with the first three rows, but not the form with the rest of the columns. Nikkilä's Germanic source does not work here, but the Baltic suggestion jibes with the shape. I connect the columns, and suggest that the snout is a *'driving point'. This would justify 2BG quite nicely, i.e. kenokaula '-neck' would be the horse's neck position when running. Then, when one straightens the chin - neck line like that, one gets backwards tilting of the head (takakeno). From driving comes "naturally" even kuona 'understanding', cf. ajaa 'understand', and aju N. For Cols. 1-7 the wedge's driving point gives the context for the attested spread; cf. ajakka 'wedge'. From the plow it would then spread to the sleigh and the boat, and even the wagon tire (kinurauta 5A). Parallels can be seen in ajopurje, the "cutter", the outmost jib, and ajopuomi 'driving boom = bowsprit'. (Ganander's 2C 'small trout' -- a wedge, or something like ajokala?)

Does this set-up have any implications for Baltic? Yes, it means that gintaras 'amber' is a native Lithuanian term, and not a borrowing (Trubačev 1980).

It designates resinous oozings F, as in Fi. pihkan ajo, mänty ajaa sit pihkaa. Likewise, gēbenē 'blister' gets a better etymology: it can be taken as a metathesis from *genebē (for the form, cf. gon' bá, hañba, ganýba), and its meaning 'ivy' fits in well as *'growth' (cf. Gm. treiben, Fi. ajaa in this sense). One also wonders whether gonýs 'newt' ultimately derives from 10F.

Another cluster of words with considerable semantic ground can be seen around Fi. kelo 2a and kelle/kelteen 6e in the table below. There is a noticeable break between rows d. and e., and a formal boundary between Cols. 4 and 5, reflecting -l- vs. -lt- (and then also lt > ll, lt > ltt). lk remains in a way slightly separate. We have thus four sections (skiltys!), with weight on the upper left and the lower right. There is general tendency to take 6e as a loan from Baltic (Li. skiltis 'slice'), although the idea is deemed uncertain. Even its main champion (Ojansuu 1927, 12-16) suspected that 6 and 7 are different words, and that the rest of the columns contain other (unidentified) Baltic sources as well. The lower left "isolate", lk, is generally taken from the Baltic 'wheel' (OPru. kelan, Latv. duceles). Connection between the -l- and -lt- forms has not been made, but I propose it here.

Cols. a. and b. reflect passive and active peeling, as it were, and 7a as 'waterlogged' is very close. A peeled condition gives directly c., i.e., c. is a slight shift from a.-b., and here we have further metaphorical moves (dented lines): kelu 1, kelo 2, and keltto 'barren land'; kelo 2, keltti 10 'poor'; kellottaa 8c 'do something unashamed' (= openly?). Exposure lurks in 'dry, clear weather' 3, 'dry, windy weather' 6, kelle/kelleen 6 (Lönnrot) 'blast, cold', and Est. kile 3, kille 6 (Wied.) 'sharp, penetrating (cold and sound)'. The peeling situation leads then to d., generally 'underwear', but from that

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	kelu	kelo	kele	keles	kelsi	kelle	kelles	kell-	kelli	keltti	keltu		
a. kelo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	snag	a
b. kuorittu puu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	peeled tree	b
c. lumeton jää/ peittämätön	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	snowless ice/ uncovered	c
d. vaatteet/ välineet (4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	clothes/ utensils (4)	d
e. (pinta)(lautta) halkaiatu puu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(surface)(board) split log	e
f. kiveknet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tentacles	f
g. kyljellä -e-/ eelällä -e-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	on one's side/ back	g
h. lekotella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sprawl	h
i. maata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	lie (prone, on one's back)	i
j. heilua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	swing/sway/ rock	j
k. kela/ vintturi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	reel/coil/ spool/winch	k

also 'naked' (keltei[si]llään 6 'in one's peel-offs', as it were) and 'rags' (kelttu 10, with the rest of meanings in 6). The modulation 'peel' (keliiä 2), 'rub off hair' (kelo[t]a 2), and 'flake' (kelteillä 6) provides verbs from both sides (-l- vs. -lt-; cf. Est. kiltuma 'come off in layers' with -ltt-).

In row e. we move from peeling to splitting, particularly carving or chipping off surface flakes, chips, boards, battens, laths, etc. The other main sense is splitting bigger logs in two. These central concrete meanings radiate into all kinds of big lumps (6, 7, 11) and small chips (10, 11), including children (2, 4, 7) and fat (7) or weak, thin, or unimportant (7) men (cf. c. 'poor'), lean, sinewy meat (Est. 3, 6), filmy tissue (Est. 1, 6, 11), blisters (9), dried fish (Est. 10), deep folds (6), etc. (and f. provides an independent listing thereof). I do not see any real difficulties in connecting all these items. Formally kelles 7 goes (in the gen.) both kelleksen and kelteen (as in 6), and other suffixes are involved in 7 (e.g. -kkee- and -kkää-).

Rows g.-j. present the greatest challenge for this arrangement. The crux of the matter falls between Cols. 6 and 8. The latter reflects (in a very inadequate way) verbs only, the former adverbial phrases. The combination is very telling for the solution. One has always suspected, I would think, that 8 is somehow connected with 6 (cf. Häkkinen 1985, 109-110). As I see it, the best hatchery for the verbs is the snag and wood processing context. In the table below the basic relation of Cols. 5-6 (= II) and 8 (= III) from above (rows g.-j.) is given in more detail. Col. IV lists single -l- forms that match II and III quite well. When the tree stands up, its side, kylki IA, is all around the trunk. When it falls down, it falls on its side (IIB), and the movement/activity has its own verbs (III3). The falling and tumbling down tends to be taken as flat out, e.g. kaatui ku kelaan 'like a snag = ostentatiously', or tulla kelin-

	I	II	III	IV
A. side/flank	kylki	kelsi/kelle	VERBS	kela/kelo
B. to one's side	kyljelleen (selälleen)	kellelleen	kellahtaa kellätä (tr.) kellistää kelliä kellehtiä kellitellä kelluilla kellikoita	ku kelaan kelinkeliä
C. on one's side	kyljellään (selällään)	kellellään kelteellään		kelös kelottaa
D. lie on one's side	maata kyljel- lään (selällä.)			olla kelalla kelukehtaa
E. roll on one's side	kieriä kyljel- lään		kellehtiä	keluilla keloilla
F. hang and sway slowly	riippua ja heilua		kellua kellutella	
G. float on water	kellua vedessä		kellua	keluilla

keliä 'come tumbling down'. In general, we see that kelsi/kelle follow their functional counterpart kylki. This is true of C as well, with the adessive as stationary existence. Whereas kylki combines with maata 'lie' (ID) to form a verb, kelsi relies on direct derivatives, and a plethora of them (in III). This is a formal/grammatical difference, not a semantic one, and I let the verbs in III iconically blur the row distinctions. The snag/tree context (IVB) is expressly spelled out in IVC, where kelossa and kelottaa mean taking a tree out of the forest by pulling it from one end on a sleigh. Note that the sprawling and easy life contexts of D also come to designate 'drag one's feet' (Lönnrot; both kelluilla). A snag on the ground tends to stay there, thus both lazy stationary life and difficult movement naturally result. But processing logs requires turning them, and hence E. We see it clearly in phrases like sillä kellehellä/kelteellä 'as before, without progress', i.e., on the same side, without a turn. Snags are perceptually central on water edges where one end often becomes waterlogged (7a). But this alone is apparently not the whole story in the development of the 'floating' meaning. Another line of input comes from the peeling bark strips that hang down and flutter in wind (IIIF, cf. kellu 9j; the standard is now killua). This gets transferred into and onto water as well, e.g. kala keloilee 'the fish ... (1h, IVE). The forms do get badly tangled up. e.g. kellua reaches up to D, and the whole gamut now blends in with descriptive inadequacy (olla kelekseen 4j 'be afraid' would be a metaphor from shaking). Of course, it is embarrassing that the only empty slot (IVF) is the one I have to rely on in semantics. It had shed its goods to its neighbors, as it were.

I think that the general setup confirms its origin in the Baltic paradigm of skilti 'split, get a crack, divide', skilēs 'showing cracks', and skiltis 'section, slice' (cf. Est. kilduma II 'splinter'). This shows exactly the semantics of how trees start to peel, and how they are split and hewn. Curiously, nobody seems to have drawn in any -l- forms, because even better evidence comes from skilā 'piece of wood, cordwood, stick, shard, etc.', and with different ablaut, skalā 'splint, lath, etc.', skalin̄ys 'split log', skalūnas 'slate', skal̄ynas 'pile of slate or shingles'; cf. Est. kilt/kilda 10 'slate, schist (cf. kiltuma above).

There remains 1k, kela/kelu 'reel', for which the wheel is such a perfect solution in the modern context. Note Est. kõlu 'a device for weaving belts', and Liv. keļā 'bend, curve'. None of the contexts crucially center on the wheel, but rather on handling strips or lines. Thus I think that a better etymology can be drawn from this very corner the word here occupies: kela (kelu) pertains originally to peeling off birch bark from around the trunk. These strips were very long indeed, and they were stored in reels or balls (see Valonen 1952 for details). The line winches on the boats resemble tree trunks.

I have not had a chance to address the phonetic details here. Let me just point out the following: Kuona seems to point to ablaut that has been lexically borrowed. Is there the same possibility for kela and its kind? Yes, one wonders whether the Omega/Lude/Veps kalu 'half-burned stick (in slash-and-burning), dry stick, etc.' (Finnish just 'tool') and Est. kalu 'rubbish, lumber' belong here. And then there is kolo[t]a 'peel (a tree)' and tuohi on kolollaan 'the birch bark comes off easily'.

In any case, we get further evidence for the extremely intimate contacts between the Balts and the Baltic Finns. Their strength seems to increase daily. The kela cluster fits in with the early technology, and it typically shifts into immigrant status (we have also lieko 'waterlogged log' in the west from Germanic and hako 'id.' in the east from Baltic). In the case of ajaa one cannot say how much of the semantics came along, since Baltic Finnic shows about the same spread as Greek and Latin combined. That much was probably not borrowed, rather, the driving field stretched in daily use. The kena situation, however, is different. An active driving meaning is missing in Baltic Finnic, and hence it is more likely that the items have been separately borrowed from the Baltic lexicon.

REFERENCES

- Anttila, R. Deepened joys of etymology. JSFOu 80.15-27 (1986).
- Häkkinen, K. Suomen kielen sanaston historiallista taustaa. Turku 1985.
- Kalima, J. Itämerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat. Helsinki 1936.
- Koivu-lehto, J. Ehkä ja ehto, yskä ja ystävä. JSFOu 82.171-192 (1989).
- Nikkilä, O. Beiträge ... 4. keikka und keno. FUF 45.117-125 (1983).
- Ojansuu, H. Lisiä suomalais-balttilaisiin kosketuksiin. Suomi 4:20. Helsinki 1927.
- Pohjala, M. Kinos ja nietos. Fil.kand. thesis. Helsinki 1969. (SMSK) Suomen murteiden sanakirja. Helsinki 1985-.
- Sola, M. Kina-sanueen semantiikkaa. Fil.kand. thesis. Helsinki 1970.
- Trubačëv, O.N. Iz balto-slavjanskix étimologij. Étimologija 1978, 3-18. Moskva 1980.
- Valonen, N. Geflechte und andere Arbeiten aus Birkenrindenstreifen. Kansatieteellinen arkisto IX. Helsinki 1952.

MORE BALTIC LOANS FROM ANCIENT EVERYDAY CONTEXTS: Fi. suhta and hinta

Fi. suhta n. 'proportion, measure, moderation, direction' (SMSA, Gan-
ander 1787, Lönnrot 1874-1880)

◀ Baltic, cf. Lith. sūktas 'wound up, turned (on the lathe), twisted,
lithe, supple, manigeable (clever, sharp, deceitful)' ~ sūkti, Latv.
sūkt 'wind, turn, twist' (LKŽ XIV, Fraenkel, Kurschat, Niedermann et
alii, Mühlenbach).

SKES (The Finnish etymological dictionary) does not mention the noun suhta,
although it is widely known in dialects, and is the self-evident base for such
common literary terms as suhde 'relation(ship)', suhteellinen 'relative', suh-
teen 'regarding', suhtautua 'to relate, take something as', sopusuhtainen
'proportionate'. These are generally considered as 19th century neologisms,
and their connection with dialect tokens has not yet been investigated (cf.
Hakulinen 1979, Häkkinen 1987). However, suhta and the words related to it have
been abundantly attested in Finnish dialects. The number of the items is great-
er in the West (especially in Ostrobothnia), but reliable examples come also
from the Eastern regions.

The Fi. word cluster appears isolated in Baltic Finnic as no Estonian, Li-
vonian, Vepsian or Karelian matchings have been pointed out to date. Mod. Est.
suhe 'relation' and suhteline 'relative' are neologisms adopted from Finnish
(Mägiste 1982, Saagpakk 1982). Yet Wiedemann (1893) gives a perplexing entry
from South Estonian, sutta (d alt) 'ganz, sehr', and common Est. suda (alt)
'ganz, sehr', suda kõik 'allzumal'. Mägiste repeats Wiedemann's items and ex-
plains them as allegro forms of the abessive soota (dial. sütta) from sugu
'family' (cf. sootuks 'quite, completely'). Saareste gives a particularly in-
teresting OEst. example, keick suhda 'all together' (Göseken 1660). The nom.
sing. of this partitive or illative form would be *suht, a regular Estonian
correspondence of late Proto-Finnic *suhta < *sukta. South Est. *sut (decl.
sutta) could reflect the Proto-Finnic *sukta, through the regular sound change
*kt > tt (cf. Kettunen 1962, 30). Wiedemann's form suda, on the other hand,
could be a South Est. loan with an analogical weak grade.

Hence, it seems probable that *sukta is one of those Baltic Finnic words
that have been retained in only one of the daughter languages (cf. Suhonen
1984). The OEst. attestations offer a rare occasion to verify the the earlier
existence of this word at least in another Baltic Finnic language. Its adverbial
meanings 'quite, very, all together' have conceptual affinity with the mean-

ings 'measure' and 'proportion' of Fi. suhta.

Proto-Finnic *sukta adds one more item to the scarce list of the words reflecting the phonotactic type *CVktV, such as Fi. kahte-, lahti, huhta (< Germ.), kohta (< Baltic) (cf. Itkonen 1987,180).

The basic meaning of suhta seems to be 'moderation, right proportion' in any activity or 'proper amount' in measures of quantity (money, food, drink). The compound suhtahinta means 'right, proper price'. Suhta means also 'order, discipline', and the adessive suhta/lla 'decently, moderately, just right'. All the nominal and verbal derivatives seem to refer to the basic meaning of 'justness, appropriateness, fitness' or the lack thereof. Most of them in fact have an abstract connotation.

Nouns: SUHTA > suhde: suhtee- 'relation(ship), proportion' ; Suhteilla vaivaset pelaa, viisas omalla tairollansa (the miserable ones play with connections, the wise man with his skill) ; Ne oli hyviä talvivaatteita lämpösuhteistaan (they were good winter clothes for their warmth proportions/properties) ; > suhti 'occasion, sense, measure (moderation)' ; --- jakka suhtia saan (when I get the occasion) ; En saanut suhtia ollenkaan (I did not catch the sense at all) ; Ei ole suhtia eikä hulttia (there is no measure or constraint).

Adjectives: SUHTA > suhdas 'one who gets along' ; Olivat ihmiset suhtaampia (people got better along with each other) ; > suhdallinen 'proportionate' ; suhdalliset rakennukset (proportionate buildings) ; > suhdaton, priv., 'beyond measure' ; SUHDE > suhteellinen 'appropriate, friendly' (lit. Fi. 'relative') ; SUHTI > suhdikas 'just, one who gets along' ; > suhditon, priv., 'disproportionate'.

Verbs: SUHTA > suhtautua, suhtaantua 'get along (lit. Fi. 'take something as') ; Se hyvin suhtaantuu (he gets well along with others) ; SUHTI > suhdita, suhdittaa 'restrain, control' ; Koita nyt jotenkin sitä suhurittaa (try to restrain him somehow).

Adverbs: SUHTA > suhdin, plur. stem, 'moderately', suhdillaan 'in good terms with somebody' ; SUHDE > suhteen (postpos. in gen.) 'with regard to' (attested in literature already in 1621).

Some items of the suhta cluster are significant for the semantic justification of the Baltic etymology. Suhta has a couple of more concrete meanings, such as '(physical) measure' and 'direction, course, route'. In the phrase Täytyy sitä puoli suhtaa olla (there must be half a measure) suhta refers to a concrete measure of amount. In phrases like etelän suhta (in the direction of the South), suhta pois (of the course), suhta ympäri luhtaa (course around the meadow; note that also luhta is a Baltic loan, cf. Lith. lūkštas) the question is about quite a concrete "frame for the action", basis for the more abstract conceptions like those of proportion, moderation, good relations, etc. The most

concrete meanings are those of suhtana, nom. derivative in -na, 'kind of tra-vois', made of two trunks tied together by wound willow branches, and suhde 'seam (between iron and steel in welding)'.

The Lith. ppp. sùktas and the base verb sùkti, Latv. sùkt, have the intrinsic denotation of 'turning, twisting'. The Baltic word cluster has certain etymological correspondences only in Slavic where also the meanings are essentially the same, e.g. Ru. skat', Cz. skáti (Fraenkel).

The idea of turning, twisting, bending matches metaphorically with the idea of adapting something to a certain form, measure, order, boundaries, or giving a direction. Also the connotation of 'binding' comes close to this semantic field. Some Lith. items related to the verb sùkti have such concrete and specific meanings as may directly be reflected in the Finnic adoptions. Lith. sùkis 'turn' and more specifically 'withes bound/twisted together to mark the boundaries of a meadow' reflects the conception of boundary, and sùkalas 'hinge' designates the link or the seam. Both may be interpreted as semantic transpositions of the basic meaning 'to turn, twist'. They have appropriate counterparts in Fi. suhtana 'trunks bound together' and suhde 'seam between iron and steel'.

The more abstract Finnish meanings are comprehensible in the light of these concrete contexts. 'Proportion, moderation, measure and direction' recall the metaphor of wound withes to delimit an area (meadow) or a trail. Likewise the meanings 'relationship' and 'relative' may derive from a concrete idea like the hinge or the seam between metals or that of bound trunks. Fraenkel (1931, 210-214) handles the Lith. verbs pravértèti, praveřsti, variants of the primary form verřti 'turn', and the corresponding adjective pravartùs 'fit for, useful, apt' and compares their semantics with that of sùkti 'twist, turn' ~ sukrùs 'able'.

Other semantic parallels are given e.g. by Gm. wenden, the past participle of which, gewandt, means 'skillful, (one who knows when and how to turn), and also 'adapted, fit for the circumstances, suitable, proper, proportionate' (auf die Verhältnisse gerichtet, ihnen angemessen) and 'somehow constituted' (irgendwie beschaffen) (Kluge, Grimm).

The Eng. noun turn has also such connotations as 'done to a turn, exactly, to the proper degree' (orig. in reference to the turns of the pit), 'condition of being or direction in which something is twisted or convoluted', hence a proportion of length, 'measure', e.g. in fur trade 'a bundle of skins' (OED) or 'a measured space on a fishing-ground'. Engl. dial. twist means also 'a turn of the halter put around a horse's jaw' (Engl. dial. dictionary VI).

The basic meaning of 'turning, twisting' has produced opposite connotations in Baltic and in Finnic as regards qualities like Lith. sùktas 'cunning, treach-

erous' and Fi. suhteellinen, suhdikas 'just, friendly'. The same antonymy is seen in Lat. versutus 'dexterous, cunning' vs. Sw. luten 'bent; benevolent'.

Fi. suhta and its derivatives offer one further example of those Baltic (and Germanic) loans in which the basic meaning of the original portrays basic actions like binding, cutting, driving, or twisting. It bears witness of that familiar everyday intercourse between the ethnic groups in the Baltic lands which seems to be confirmed also by archeological data. The semantic spectrum of the suhta cluster reflects also the universal development of meaning from simple, often concrete, conception like suhta 'measure, proportion' to a more abstract content like suhteellinen ('proportionate' >) 'relative', to end up with the collective derivative suhteellisuus 'relativity', the first component in the compound suhteellisuusteoria 'theory of relativity'.

Fi. hinta n., Kar. hinda, Veps. hind, Vot. inta 'price', Est. hind 'price, fee, value', Liv. Īnda: vanā i. 'old richness'; Fi. > Lapp hadde 'price'; Mordv.E tšonda 'price, value, money' (SKES)
< Baltic, cf. Lith. šimtas, Latv. simts '100' < IE *Rmtó-; Lith. also 'very much, a great quantity' (Fraenkel, LKŽ XIV).

Late Proto-Finnic hinta is formally quite an expected reflex of Baltic *šimtas and it must have been borrowed in the form *šimta, before the sound changes š > h and mt > nt (which, according to Posti 1953, 5, 37, were due to Germanic influence). The Baltic term has been borrowed also to Mordvin, hence it adds to the number of Baltic loans in Volga-Finnic. SKES gives some Permian and Ob-Ugric tokens as uncertain equivalents (to Fi. suhta). Although recent research has shown that some Baltic loans have reached even the Permian languages, the Votyak-Zyrien and Ob-Ugric words cited by SKES are in fact formally and semantically quite unreliable.

Contrary to Fi. suhta, hinta would be one of those Baltic loans which are attested throughout Baltic Finnic.

Hinta just adds one more item to the category of the words meaning 'measure' and 'value', most of which are loans, e.g. mitta 'measure', raha 'money', teura 'taxes', vuokra 'rent' (< Germ.), tuhat '1000' (< Baltic) and määrä 'amount' (< Slavic).

Neither is the semantic justification of this connection so difficult as it may seem at first sight. Finnic borrowed the numeral tuhat '1000' from Baltic (cf. Lith. tūkstantis, old tūkstantis), and may have adopted a "fashionable" term *šimtas in another specific meaning 'value, price', while the old Iranian loan sata '100' retained its inherent number reading.

We can find parallels for the semantic shift from 'numeral' to 'value', or

'measure'. Kar. sata '100' means also '100 handfuls (of flax etc.)', Fi. tiu '20 eggs' derives from the OSw. numeral tiugh which seems to denote both '10' and '20', and Fi. tikkuri 'unit of 10 pelts' is a Wanderwort which comes from Lat. decuria 'decade' through Low German and Old Swedish (SKES).

The adoption of the Baltic numeral in the function of 'price, payment' may be understood in the context of the fur trade practiced by the ancient Northern hunters. In many languages there are words for 'values' which originally meant 'pelt' or 'fur animal', such as Fi. raha 'money' < 'squirrel(pelt)', Cher. and Zyr. ur 'Ru. copeck; squirrel', ORu. kuna kuny 'money; marten' (Schrader 1901, 282).

Documented evidence of using furs as means of payment or taxes dates only from the Middle Ages, but the practice must be much older in the Finno-Ugric hunting culture. In fact, fur trade was probably most prominent in the far antiquity (Kaukiainen 1980, 55). There must have been considerable trade between Finland and the Baltic region already in Pre-Baltic times, because the Finnish stone age tombs have yielded a great number of amber ornaments that have exact contemporary correspondences in Eastern Prussia and Latvia (Edgren 1984,55).

The Proro-Finnic *šimta < Baltic *šim̃tas could designate 'a great amount (about 100) of small pelts', most probably squirrel pelts. Squirrels were the primary fur animals, and their small size made it possible to form bundles of different bulks according to the value of the goods to be acquired (cf. Mark 1936, 9).

Folk tradition, especially in Eastern Finland, still knows the terms kiihtelys and rihma (also a Baltic loan) which mean 'bundle of squirrel pelts'. According to most reports the number of pelts is 40, but in some cases also 25. Most probably the average commercial quantity was bigger in earlier times, maybe just about 100. A direct parallel is given by Votyak šu-koni 'ruble = 100 copecks', literally '100 squirrels' (Tunkelo 1915, 96).

On the other hand, it seems that the numeric precision of the numerals was not so important in the less articulated ancient economy. In fact, the other meaning of Lith. šim̃tas is 'much, multitude' (daug, daugybė), e.g. in the idiom gyvas šim̃tas 'labai daug' (LKŽ XIV). The use of the numerals in many languages is a typical example of this vagueness, e.g. in expressions like Lith. šimta kartų, Sw. hundra gånger, It. mille volte, and in the names of the centipede: Lith. šimtakojis, Sw. tusenfoting, It. millepiedi, or Engl. millipede. In addition, it seems that that the IE numeral for '100' in some old attestations designated merely a round number, not a literal '100', e.g. in Gr. hekaton-polis 'with a 100 cities' and hekatombē which rather means 'a unit of sacrifice', with an unspecified number (Justus 1988, 526).

Suhta and hintä share the reading 'measure', but otherwise represent two different categories of Baltic or Germanic loans adopted in Finnic. Hintä is a typical Kulturwort, the type of word which earlier loan word studies preferred. Yet current research (especially J. Koivulehto's results) has shown that terms meaning quite simple and familiar concepts like suhta are more numerous in borrowed vocabulary than one thought earlier.

REFERENCES

- Edgren, T. Kivikausi. Suomen historia I, 11-96. Espoo 1984.
- Fraenkel, E. Lituanica. Indogermanische Forschungen 49(1931), 209-215.
- Fraenkel, E. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg 1962-1965.
- Ganander, Chr. Nytt Finskt Lexicon (1787). Porvoo 1937-1940.
- Grimm, J. & W. Deutsches Wörterbuch XIV. Leipzig 1955.
- Hakulinen, L. Suomen kielen rakenne ja kehitys. Keuruu 1979.
- Häkkinen, K. Etymologinen sanakirja. Nykysuomen sanakirja 6. Porvoo 1987.
- Itkonen, T. Erään vokaalivyöhyden selvittelyä. Virittäjä 1987, 164-208.
- Justus, C. F. IE numerals and numeral systems. A linguistic happening in memory of Ben Schwartz, 521-541. Louvain-la-Neuve 1988.
- Kaukiainen, J. Suomen asuttaminen. Suomen taloushistoria I, 11-145. Helsinki 1980.
- Kettunen, L. Eestin kielen äännehistoria. Helsinki 1962.
- Kluge, F., Mitzka, W. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin 1975.
- Kurschat, A. Litauisch-deutsches Wörterbuch. Göttingen 1968-1973.
- Lietuvių kalbos žodynas XIV. Vilnius 1986.
- Lönnrot, E. Suomalais-ruotsalainen sanakirja (1874-1880). Porvoo 1930.
- Mark, J. Suomalais-ugrilaiden kansojen kaupasta. Fenno-Ugrica V A, 1-10. Tallinn 1936.
- Mühlenbach, K., Endzelin, J. Lettisch-deutsches Wörterbuch. Riga 1932-1962.
- Mägiste, J. Estnisches etymologisches Wörterbuch. Helsinki 1982.

Niedermann, M., Senn, A., Salys, A. Wörterbuch der litauischen Schriftsprache. Heidelberg 1932-1968.

The Oxford English dictionary XVIII. Oxford 1989.

Posti, L. From Pre-Finnic to Late Proto-Finnic. FUF 31 (1953), 1-91.

Saagpakk, P.F. Eesti-inglise sõnaraamat. New Haven and London 1982.

Saareste, A. Eesti keele mõisteline sõnaraamat 4. Stockholm 1963.

Schrader, O. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. Strassburg 1901.

Suhonen, S. Lainasanat balttilais-itämerensuomalaisten kontaktien kuvastajina. Suomen väestön esihistorialliset juuret, 207-225. Helsinki 1984.

Suomen kielen etymologinen sanakirja. Helsinki 1955-1978.

SMSA = The Archives of the Finnish dialect dictionary.

Tunkelo, E.A. Vanhaa ja uutta raha sanasta. Virittäjä 1915, 91-99.

Wiedemann, F. Ehstnisch-deutsches Wörterbuch. Petersburg 1893.

Wright, J. The English dialect dictionary VI. Tokyo 1961.

СЕПАРАТНЫЕ БАЛТИЗМЫ В ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИХ ЯЗЫКАХ

Детальное выяснение фонетической адаптации балтийских заимствований крайне осложнено, и получаемая информация с точки зрения хронологизации балтизмов неоднозначна. Ввиду этого интерес к данным распространения балтизмов как к критерию датирования постоянно возрастал. В последнее время внимание исследователей к этой проблематике особенно обострилось, в связи с чем выяснилась и необходимость усовершенствования методики, в частности следует подчеркнуть следующие моменты:

1) вместо современного прибалтийско-финского языкового членения следует оперировать языковыми единицами, более адекватно соответствующими древнему племенному состоянию (ср. Viitso 1982, 78-79; Т. Itkonen 1983, 210);

2) для предотвращения механического применения данных распространения, следует в максимальной степени выяснить случаи позднего внутрисемейного передвижения балтизмов, уравнивающего картину распространения (расширение изолек) и случаи их вытеснения из той или иной части прибалтийско-финской языковой области, принимая во внимание, напр., топонимические данные (сужение изолекс).

Распространение балтийских заимствований в прибалтийско-финских языках далеко не столь равномерно, как это традиционно утверждается. Из примерно 380 эвентуальных балтийских основ сплошное распространение характерно только для 96 основ. В докладе рассматривается вопрос о полицентризме балто-прибалтийско-финских контактов. К настоящему времени более детально прослеживались сепаратные балтизмы в северной группе прибалтийско-финских языков (Sammallahti 1977, 122 и сл.; Suhonen 1980, 189 и сл.). Исследовательская работа до сих пор выполнялась, главным образом, финскими лингвистами, и основой изучения послужил финский язык. В ходе работы был выяснен многочисленный пласт балтийских заимствований, свойственный только финскому языку, с вытекающими отсюда выводами. Объектом тщательнейшего анализа послужили такие балтизмы - их около десяти, - которые по лингвистическим признакам очевидно заимствованы самостоятельно в северную и южную группы прибалтийско-финских языков. Более позднее передвижение балтизмов в

пределах языковой семьи (взаимные контакты через Финский залив и Ингерманландию) несколько затрудняет реконструкцию первоначального положения.

Детально рассматриваются отдельные балтизмы южной группы прибалтийско-финских языков, причем впервые балтийская этимологическая справка дается ряду эстонских словооснов. Этимологический анализ эстонской ландшафтной лексики показывает, что географические термины балтийского происхождения сконцентрированы в западной части Эстонии. Высказывается предположение, что это балтийский субстрат, распространенный балтами, которые ассимилированы прибалтийскими финнами (подробнее см.: Vaba 1989b, 138 и сл., 206 и сл.). Балтийский фрагмент выступает также в южноэстонской бортнической лексике (Vaba 1989a). Южноэстонскому диалекту принадлежит и ряд других балтизмов.

Некоторые отдельные балтизмы известны также в ливском языке. Это, главным образом, относительно поздний куршский слой. Но в ливском языке отсутствует третья часть (по нашим данным, пробелы наблюдаются в 74-120 балтийских этимологических сериях) древних балтийских заимствований. Этот факт послужил причиной для предположений, что предки будущих ливов (как и вепсов) обитали на периферии прибалтийско-финской языковой области, не подвергшейся непосредственному балтийскому языковому и культурному влиянию. В докладе мы придерживаемся мнения, согласно которому по крайней мере относительно ливского языка исключаются выводы, которые опираются на прямолинейную интерпретацию лексических данных. Детальному анализу подвергаются предполагаемые причины отсутствия в ливском языке значительной части древних балтизмов.

Itkonen, T. Välikatsaus suomen kielen juuriin. - Virittäjä. 1983, 190-229.

Sammallahti, P. Suomalaisen esihistorian kysymyksiä. - Virittäjä 1977, 119-136.

Suhonen, S. Balttilaisten lainasanojen levikistä ja merkityspiirteistä itämerensuomalaisissa kielissä. - Virittäjä 1980, 189-211.

Vaba, L.(a). Balti fragment eesti mesindussõnavaras? (В печати.)

Vaba, L.(b). Balti laenud läänemeresoome maastikusõnavaras. - Keel ja Kirjandus 1989, 138-141, 206-218.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

1. СЛАВЯНЕ И ФИННО-УГРЫ

1.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

- Н. В и г н б а и м /Los Angeles/. Еще раз о завоевании Северо-Восточной Европы славянами и о вопросе финно-угорского субстрата в русском языке4
- А. К. М а т в е е в /Свердловск/. К лингвоэтнической идентификации финно-угорской субстратной топонимии12
- А. Е. А н и к и н /Новосибирск/. Об уральском вкладе в лексику русских говоров16
- О. Б. Т к а ч е н к о /Киев/. К этно-культурному аспекту древнейших финно-угорских славизмов23

1.2. РУССКИЙ СЕВЕР

- Е. А. М е л ь н и к о в а, В. Я. П е т р у х и н /Москва/. Русь и чужь. К проблеме этнокультурных контактов Восточной Европы и Балтийского региона во II половине I тыс. н.э.28
- В. П. Я й л е н к о /Москва/. Прибалтийско-финские основы названий Новгородской земли Славно, Ильмень, Меря35
- С. Л. Н и к о л а е в, Е. А. Х е л и м с к и й /Москва/. Славянские (новгородско-псковские) заимствования в прибалтийско-финских языках: -а и -и в рефлексах имен мужского рода41
- Е. А. Р я б и н и н /Ленинград/. Славяно-финно-угорские контакты на севере Восточной Европы в эпоху средневековья ..44
- М. Э. Й о а л а й д /Таллинн/. Топонимы южновепсской территории в народном и официальном употреблении52

1.3. ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ПОВОЛЖЬЕ

- Ф. И. Г о р д е е в /Йошкар-Ола/. Дорусская субстратная топонимия Центральной России и ее марийские параллели60
- В. Д. Б о н д а л е т о в /Пенза/. Относительно языкового статуса офенского и ему подобных "языков"63
- Е. А. И г у ш е в /Сыктывкар/. Стилистика древних заимствований коми языка70

1.4. КАРПАТЫ

- Г. П. К л е п и к о в а /Москва/. Роль венгерского языка в процессах этнолингвистических взаимодействий в зоне Карпат /ареальный аспект/72

L. Н о n t i /Groningen/. Zufall oder strukturelle Lehnbildung?..75	75
Е. А. Х е л и м с к и й /Москва/. К корпусу ранних славянских заимствований венгерского языка.....76	76
П. Н. Л и з а н е ц /Ужгород/. Восточнославянско-венгерские этноязыковые связи.....83	83

2. БАЛТЫ И ФИННО-УГРЫ

2.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

В. В. С е д о в /Москва/. Балты и финно-угры в древности /по археологическим материалам/.....89	89
И. А. Л о з е /Рига/. Этнокультурная ситуация в бассейне верхнего и среднего течения Даугавы и Днепра в эпоху ранней бронзы /по археологическим данным/.....95	95
В. Н. Т о п о р о в /Москва/. О характере древнейших балто-финноугорских контактов по материалам гидронимии.....101	101

2.2. БАЛТО-СЛАВЯНО-ФИННОУГОРСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ

L. В е d n a r s z u k /Kraków/. Balto-Slavic and Finno-Ugric Linguistic Convergences in Typological and Areal Aspects..108	108
T. М. Н и к о л а е в а /Москва/. Балто-финноугорско-славянско-балканские просодические схождения.....109	109
R. Е с к е r t /Berlin/. Baltisch-slawisch-finnougrische Entsprechungen in Fachwortschatz der Waldimkerei.....111	111
T. М. С у д н и к /Москва/. Nominativus cum Infinitivo в белорусских говорах.....116	116
K. Н. М e n g e s /Wien/. Altajisch und Balto-Slawisch.....117	117

2.3. ЭТИМОЛОГИЯ

A. Б. Б р е й д а к /Рига/. Древнейшие балто-финно-угорские языковые связи и их значение для истории балтийского вокализма.....122	122
R. A n t t i l a /Helsinki - Los Angeles/. Finnish as a Missing Link in the Balto-Slavic Lexicon.....127	127
E. U o t t i l a /Naples/. More Baltic Loans from Ancient Everyday Contexts: Fi. <u>suhta</u> and <u>hinta</u>134	134
Л. В а б а /Таллинн/. Сепаратные балтизмы в прибалтийско-финских языках.....141	141

30490RU